

Иван Шмелёв

ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА

Классики
и
современники



Классики и современники

Иван Шмелев

Человек из ресторана

«Художественная литература»

1911, 1907, 1918, 1927

УДК 82
ББК 84

Шмелев И. С.

Человек из ресторана / И. С. Шмелев — «Художественная литература», 1911,1907,1918,1927 — (Классики и современники)

ISBN 978-5-280-03893-6

В книгу избранных произведений одного из ярчайших представителей русского зарубежья И.С.Шмелёва (1873–1950) вошли повести и рассказы, написанные им в разные годы. В сборник вошли широко известная повесть «Человек из ресторана», рассказ «Необыкновенное путешествие», повесть «Гражданин Уклейкин» и др.

УДК 82
ББК 84

ISBN 978-5-280-03893-6

© Шмелев И. С., 1911,1907,1918,1927
© Художественная литература, 1911,1907,1918,1927

Содержание

Об Иване Шмелёве (1873–1950)	6
Человек из ресторана	9
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Иван Шмелёв

Человек из ресторана

На обложке использован фрагмент картины художника Кроегаерта Жоржа «В кафе»

© Оформление Г.Котлярова

© Издательство «Художественная литература», 2019

Об Иване Шмелёве (1873–1950)

Иван Сергеевич Шмелёв родился 21 сентября (3 октября) 1873 года в Донской слободе Москвы. Его дед был государственным крестьянином родом из Гуслицкого края Богородского уезда Московской губернии, поселившимся в Замоскворецком районе Москвы после устроенного французами пожара 1812 года. Отец, Сергей Иванович, уже принадлежал к купеческому сословию, но не занимался торговлей, а владел большой плотничьей артелью, в которой трудилось более 300 работников, и банными заведениями, а также брал подряды. «Нго последним делом, – вспоминал писатель, – был подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину» в 1880 году.

С холодной и строгой матерью отношения Ивана всегда были прохладными, хотя именно Евлампия Гавриловна, получившая образование в институте благородных девиц, приучила сына к чтению русской классики. Больше времени мальчик проводил с отцом и нанятыми им мастерами. Был среди них и Михаил Панкратович Горкин – ярый приверженец православия, в пожилом возрасте он оставил работу и по просьбе Сергея Ивановича приглядывал за маленьким Ваней. Считается, что под его влиянием и сформировался интерес Шмелева к религии. В детстве немалую часть окружения Шмелёва составляли мастеровые, среда которых также сильно повлияла на формирование его мировоззрения. Шмелёв встретился с рабочим людом разных губерний, со вчерашними крестьянами, принесшими с собой свои обычаи, разнообразно богатый язык, песни, прибаутки, поговорки. Все это, преображенное, возникнет на страницах шмелевских книг.

Когда мальчику было 7 лет, отец упал с лошади и восстановиться не смог. Мать осталась одна с шестью детьми. Жили на поступления от бань; кроме того, сдали в аренду третий этаж дома и подвал. Счастливая, безмятежная пора детства окончательно завершилась, когда в 11 лет Ваню перевели из частного пансиона, стоявшего рядом с домом, в первую Московскую гимназию. Учебу в ней писатель впоследствии вспоминал как самый тяжелый период юности. «Холодные, сухие люди», – напишет он о преподавателях позднее.

Из-за неуспеваемости и конфликтов с педагогами через пару лет Шмелев повторно сменил место учебы. Шестую Московскую гимназию он окончил в 1894 году, при этом до золотой медали ученику не достало половины балла. Шмелев поступает в Московский университет на факультет юриспруденции, а год спустя в журнале «Русское обозрение» публикуется рассказ «У мельницы» – первый литературный дебют юноши.

Получив образование и отслужив год в армии, Шмелев с супругой и сыном переезжает во Владимир. Писатель работает чиновником по особым поручениям при Владимирской казенной палате МВД. С 1905 года Иван Сергеевич возобновляет работу над произведениями и пишет Максиму Горькому с просьбой рецензировать некоторые из них. Автор создает рассказы и повести, в центре которых находится «маленький человек».

Огромный запас жизненных впечатлений, требовавших исхода, помог Шмелёву в обличении виновников бесправия и нищеты «маленького» человека, в изображении угнетенных, в которых революция высекает искру протеста, человеческого достоинства. В лучших его произведениях этих лет – «Распад», «Патока», Гражданин Уклекин» и, наконец, повести «Человек из ресторана» – Шмелёв продолжает и развивает тему «маленького человека».

Самое последнее место в социальном ряду «маленьких людей» занимает Уклекин – «лукопер», «шкандалист» и «обормот». Он давно проникся сознанием своей потерянности и ничтожности. Однако в жалком сапожнике Уклекине клокочет необратимый стихийный протест. Он ощущает в себе пробуждение гражданского, общественного сознания.

Центр тяжести в повести перенесен именно на общественную несправедливость: полуграмотный сапожник ждет облегчения от обещанных царским манифестом 17 октября 1905

года свобод и прав. И утрата Уклейкиным иллюзий, постепенное постижение того, что обещанные свободы обернулись обманом, – типично для самых широких слоев народа. В образе Уклейкина Шмелёв чутко зафиксировал процесс разочарования масс в «демократическом», парламентском пути развития, при котором вся сила власти оставалась в руках царского правительства.

Дальнейшее развитие темы «маленького человека» находим в самом значительном произведении Шмелёва дореволюционной поры – повести «Человек из ресторана».

Главным, новаторским в повести «Человек из ресторана» было то, что Шмелёв сумел полностью перевоплотиться в своего героя, увидеть мир глазами другого человека. Мудрой горечью напитана исповедь Скороходова, старого, на исходе сил труженика, обесчещенного отца, изгоя, потерявшего жену и сына. Хотя «порядочное общество» лишило его даже имени, оставив безликое «человек!», он внутренне неизмеримо выше и порядочнее тех, кому прислуживает. Это благородная, чистая душа среди богатых лакеев, воплощенная порядочность в мире суетного стяжательства. Он видит посетителей насквозь и резко осуждает их хищничество и лицемерие.

Повесть «Человек из ресторана», напечатанная в сборнике «Знания», имела шумный успех. По ее мотивам был создан фильм «Человек из ресторана», где роль Скороходова проникновенно сыграл выдающийся актер Михаил Чехов.

Шмелёв, чуткий художник, с большой точностью запечатлел появление новейшего оборотистого коммерсанта, прущего напролом, бесцеремонного и наглого буржуа.

В «Забавном приключении» писатель отобразил не только силу рвущихся к власти новых дельцов, но и недолговечность, шаткость их царствования.

Бесперывно сыплющий новыми заказами телефон, шестидесятисильный «фиат» у подъезда собственного особняка, дорогая любовница, стотысячные обороты, «компактный дорожный завтрак» от Елисеева, почтительно козыряющий городской – рассказ о воротиле Карасеве начинается так, словно вот он – новый хозяин России, который поведет ее дальше стремительным промышленным «американским» путем. Но, когда, выехав из Москвы, «фиат» застревает в бескрайней русской глухомани, обнаруживается непрочность, мнимость карасевского могущества, бессмысленность его деловой, стяжательской гонки, возникают грозные символы народной ненависти к богатеям.

Это уже не бессильный протест Уклейкина, а предвестие новой революции, которая сметет Карасевых. Солдат, пришедший с войны с крестом и со «сгнившими» почками, и мужики сулят всеильному заводчику, трясущемуся под дулом ружья, скорую расплату.

Вернувшись в столицу, Шмелев в 1909 году присоединяется к «Среде». В литературный кружок входили Иван Бунин, Александр Куприн и другие авторы, а также Федор Шаляпин. Литераторов объединяют не только встречи, но и сотрудничество с «Книгоиздательством писателей в Москве», соучредителями которого выступают Бунин и Шмелёв.

Февральскую революцию Шмелёв первоначально принял и даже отправился в Сибирь для встречи политкаторжан, однако вскоре разочаровался в ее идеях. К 40 годам Шмелев становится известным как автор очерков и повестей о купечестве и крестьянстве. Описывая тяготы народа, видя его тяжелый быт, писатель с одобрением встречает события февраля 1917 года. Однако наступившая за этим неразбериха и последовавшее насилие быстро превращают надежды в разочарование и ужас.

Октябрьскую революцию же не принял с самого начала, его растерянность, неприятие происходящего – все это сказалось на его творчестве 1918–1920 годов. В ноябре 1918 г. Шмелёв пишет повесть «Неупиваемая Чаша». Грустный рассказ о жизни или, скорее, о житии Ильи Шаронова, сына дворового маляра Терешки и тягловой Луши Тихой, напоен подлинной поэзией, проникнут глубоким сочувствием к крепостному живописцу. Кротко и незлобливо, точно святой, прожил он свою недолгую жизнь и сгорел, как восковая свеча, полюбив молодую

барыню. Шмелёв заклеил в повести «барство дикое, без чувства, без закона», бесчеловечность крепостничества.

Вскоре после революции в июне 1918 года он вместе с семьей уехал в Алушту, где сначала жил в пансионе «Вилла Роз», принадлежавшем Тихомировым, а затем приобрел земельный участок с домом. Но трагическое обстоятельство все перевернуло.

Сказать, что он любил своего единственно сына Сергея, – значит сказать очень мало. Прямо-таки с материнской нежностью относился он к нему, дышал над ним.

В 1920 году офицер Добровольческой армии Сергей Шмелёв, отказавшийся уехать с врангелевцами на чужбину, был взят в Феодосии из лазарета и без суда расстрелян красными. И не он один.

Это событие повергло Шмелёва в тяжелейшую душевную депрессию. На основе пережитого, уже будучи в эмиграции, он написал эпопею «Солнце мертвых», которая вскоре принесла автору европейскую известность.

Страдания отца описанию не поддаются. В ответ на приглашение, присланное Шмелёву Буниным, выехать за границу, «на отдых, на работу литературную», тот прислал письмо, которое, по свидетельству В.Н.Муромцевой-Буниной, трудно читать без слез. Приняв бунинское приглашение, он выезжает в 1922 году сперва в Берлин, а потом в Париж, прожив в этом городе до конца жизни. В Париже его произведения публиковались во множестве русскоязычных эмигрантских изданий, таких как «Последние новости», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Сегодня», «Современные записки».

Иван Шмелев скончался в 1950 году, 24 июня. Причиной смерти стал сердечный приступ. Его похоронили на кладбище города Сент-Женевьев-де-Буа, но сейчас его останки покоятся в некрополе Донского монастыря, расположенного в столице России. Перезахоронение состоялось в 2000 году. Сюда же перенесли останки жены Ольги и сына Сергея.

От издательства

Человек из ресторана

I

...Я человек мирный и выдержанный при моем темпераменте, – тридцать восемь лет, можно так сказать, в соку кипел, – но после таких слов прямо как ожгло меня. С глазу на глаз я бы и пропустил от такого человека... Захотел от собаки кулебяки! А тут при Колюшке – и такие слова!..

– Не имеете права елозить по чужой квартире! Я вам доверял и комнату не запираю, а вы с посторонними лицами шарите!.. Привыкли в ресторанах по карманам гулять, так думаете, допущу в отношении моего очага!..

И пошел... И даже не пьяный. Чисто золото у него там... А это он мстил нам, что с квартиры его просили, чтобы комнату очистил. Натерпелись от него всего. В участке писарем служил, но очень гордый и подозрительный. И я его честью просил, что нам невозможно в одной квартире при таком гордом характере и постоянно нетрезвом виде, и вывесил к воротам записку. Так ему досадно стало, что я комнату его показал, – и накинулся.

За человека не считаете, и то и се!.. А мы, напротив, с ним всегда очень осторожно и даже стереглись, потому что Колюшка предупреждал, что он может быть очень зловредный при своей службе. А у меня с Колюшкой тогда часто разговор был про мое занятие. Как он вырос и стал образованный, очень было не по нем, что я при ресторане. Вот Кривой-то, жилец-то наш, – фамилия ему Ежов, а это мы его промежду собой звали, – и ударил в этот пункт. По карманам гуляю! Чуть не зашиб я его за это слово, но он очень хитрый и моментально заперся на ключ. Потом записку написал и переслал мне через Лушу, мою супругу. Что от огорчения это он и неустройства, и предлагал набавить за комнату полтинник. Плюнул я на эти пустые слова, когда он и раньше-то по полтинникам платил. Только бы очистил квартиру, потому прямо даже страшный по своим поступкам... И на глаза-то всегда боялся показаться – все мимо шмыгнуть норовил. Но с Колюшкой был у меня очень горячий разговор. Я даже тогда пощечину ему дал за одно слово... И часто он потом мне все замечания делал:

– Видите, папаша... Всякий негодяй может ткнуть пальцем!..

А я смолчу и думаю себе: молод еще и не понимает всей глубины жизни, а вот как пообтрется да приглядится к людям – другое заговорит.

А все-таки обидно было от родного сына подобное слушать, очень обидно! Ну лакей, официант... Что ж из того, что по назначению судьбы я лакей! И потом, я вовсе не какой-нибудь, а из первоклассного ресторана, где всегда самая отборная и высшая публика. К нам мелкоту какую даже и не допускают, и на низ, швейцарам, строгий наказ дан, а все больше люди обстоятельные бывают – генералы и капиталисты, и самые образованные люди, профессора там и вообще, коммерсанты и аристократы... Самая тонкая и высокая публика. При таком сорте гостей нужна очень искусственная служба, и надо тоже знать, как держать себя в порядке, чтобы не было какого неудовольствия. К нам принимают тоже не с ветру, а все равно как сквозь огонь пропускают, как все равно в какой университет. Чтобы и фигурой соответствовал, и лицо было чистое и без знаков, и взгляд строгий и солидный. У нас не прими-подай, а со смыслом. И стоять надо тоже с пониманием и глядеть так, как бы и нет тебя вовсе, а ты все должен уследить и быть начеку. Так это даже и не лакей, а как все равно метрдотель из второклассного ресторана.

– Ты, – говорит, – исполняешь бесполезное и низкое ремесло! Кланяешься всякому прохвосту и хаму... Пятки им лижешь за полтинники!

А?! Упрекал меня за полтинники! А ведь он и вырос-то на эти полтинники, которые я получал завсе-иза поклоны, и за услужение разным господам, и пьяным, и благородным, и за разное! И брюки на нем шились на эти полтинники, и курточки, и книги куплены, которые он учил, и сапоги, и все! Вот что значит, что он ничего-то не знал из жизни! Посмотрел бы он, как кланяются и лижут пятки, и даже не за полтинник, а из высших соображений! Я-то всего повидал.

Когда раз в круглой гостиной был сервирован торжественный обед по случаю прибытия господина министра, и я с прочими номерами был приставлен к комплекту, сам собственными глазами видел, как один важный господин, с орденами по всей груди, со всею скоростью юркнули головой под стол и подняли носовой платок, который господин министр изволили уронить. Скорей моего поднял и даже под столом отстранил мою руку. Это даже и не их дело – по полу елозить за платками... Поглядел бы вот тогда Колюшка, а то – лакей! Я-то, натурально, выполняю свое дело, и если подаю спичку, так подаю по уставу службы, а не сверх комплекта...

Я как начал свою специальность, с мальчишек еще, так при ней и остался, а не как другие даже очень замечательные господа. Сегодня, поглядишь, он орлом смотрит, во главе стола сидит, шлосганисберг или там шампанское тянет и палец мизинец с перстнем выставил и им знаки подает на разговор и в бокальчик гукает, что не разберешь; а другой раз усмотришь его в такой компании, что и голосок-то у него сладкий и тонкий, и сидит-то он с краешку, и голову держит, как цапля, настороже, и всей-то фигурой играет по одному направлению. Видали...

И обличьем я не хуже других. Даже у меня сходство с адвокатом Глотановым, Антон Степанычем, – наши все смеялись. Оба мы во фраках, только, конечно, у них фрак сшит поровней и матерьялец получше. Ну, живот у них, правда, значительней и пущена толщенная золотая цепь. А тоже лысинка и, вообще в масть. Только вот бакенбарды у меня, а у них без пробрития. А если их пробрить да нацепить на бортик номер, очень бы хорошо сошли заме сто меня. И у меня бумажник, но только разница больше внутренняя. У них бумажник, конечно, вздут, и выглядывают пачечки разных колеров, и лежат вексельки, а у меня бумажник сплюснен и никаких колеров не имеется, а заме сто вексельков вот уже три недели лежат две визитные карточки: судебного кандидата Пере-крылова на двенадцать рублей, по случаю забытых дома денег, и господина Зацепского, театрального певца, с коронкой, на девять рублей по тому же поводу. Вот уже они три недели не являются и думают не платить, но это – подожди, мадам! Таких господ и у нас немало, и если бы платить за всех забывающих, так не хватило бы даже государственного банка, я так полагаю. Есть которые без средств, а любят пустить пыль в глаза и пыжатыся на перворазрядный ресторан, особенно когда с особами из высшего полета. Очень лестно подняться по нашим коврам и ужинать в белых залах с зеркалами, особливо при требовательности избалованных особ женского пола... Ну, и не рассчитают паров. И нехорошо даже смотреть, как конфузятся и просматривают в волнении счет и как бы для проверки вызывают в коридор. Даже с дрожью в голосе. Потому стыдно им перед особами. Ну, на страх и риск и принимаешь карточки. И выгодно бывает, когда в благодарность прибавят рублика два. Это ни для кого не вредно, а даже полезно и помогает обороту жизни. И тут ничего такого нет. Сам даже Антон Степаныч, когда завтракают с деловыми людьми, очень хорошо говорят про оборот капитала, и у них теперь два дома на хорошем месте, и недавно их поздравляли еще с третьим, по случаю торгов.

А потом с ними ведут дружбу Василь Василии Кашеротов, «первой помощи человек», как у нас про них говорят. У них всегда при себе пустые вексельки, чтобы молодым людям из хорошего семейства дать в момент и получить пользу. А совсем на моих глазах в люди вышли и в знакомстве с такими лицами, что... Даже состоят как бы в попечителях при женском монастыре и обители, особливо обожают послушниц – и достигают, по своему влиянию и жертвам. Даже по случаю такой их специальности насчет вексельков будто некоторые очень шикарные

дамы из семейств бывают с ними в знакомстве. Да-а!.. Что значат деньги! А сами из себя сморщены, и изо рта у них слышно на довольно большое расстояние, ввиду гниения зубов.

Конечно, жизнь меня тронула, и я несколько облез, но не жигуляст, и в лице представительность, и даже баки в нарушение порядка. У нас ресторан на французский манер, и потому все номера бритые, но когда директор Штросс, нашего ресторана, изволили меня усмотреть, как я служил им, – у них лошади отменные на бегах и две любовницы, – то потребовали метрдотеля и наказали:

– Оставить с баками.

Игнатий Елисеич живот спрятал из почтения и изогнулся:

– Слушаюсь. Некоторые одобряют, чтобы представительность...

– Вот. Пусть для примера остается.

Так специально для меня и распорядились. А Игнатий Елисеич даже строго-настрого наказал:

– И отнюдь не смей сбрить! Это тебе прямо счастье.

Ну, счастье! Конечно, виду больше и стесняются полтинник дать, но мешает при нашем деле.

Вообще вид у меня очень приличный и даже дипломатический, – так, бывало, в шутку выражал Кирилл Саверьяныч. Кирилл Саверьяныч!.. Ах, каким я его признавал и как он совсем испрокудился в моих глазах! Какой это был человек!.. Ежели бы не простое происхождение, так при его бы уме и хорошей протекции быть бы ему в государственных делах. Ну и натворил бы он там всего! А у него и теперь парикмахерское заведение, и торгует духами. Очень умственный человек и писал даже про жизнь в тетрадь.

Много он утешал меня в скорбях жизни и спорил с Колюшкой всякими умными словами и доказывал суть.

– Ты, Яков Софроныч, облегчаешь принятие пищи, а я привожу в порядок физиономию, и это не мы выдумали, а пошло от жизни...

Золотой был человек!

И вот когда во всем параде стоишь против зеркальных стен, то прямо нельзя поверить, что это я самый и что меня, случалось, иногда в нетрезвом виде ругнут в отдельном кабинете, а раз... А ведь я все-таки человек не последний, не какой-нибудь бездомовный, а имею местоположение и добываю не гроши какие-нибудь, а когда семьдесят, а то и восемьдесят рублей, и понимаю тонкость приличия и обращение даже с высшими лицами. И потом, у меня сын был в реальном училище, и дочь моя, Наташа, получила курс образования в гимназии... И вот при всем таком обиходе иной раз самые благородные господа, которые уж должны понимать, Такие тонкие по обращению и поступкам и говорят на разных языках!.. Так деликатно кушают и осторожно обращаются даже с косточкой, и когда стул уронят, и тогда извиняются, а вот иногда...

И вот такой-то вежливый господин в мундире, на груди круглый знак, сидевши рядом с дамой в большущей шляпе с перьями, – и даму-то я знал, из какого она происхождения, – когда я краем рыбьего блюда задел, по тесноте их друг к дружке, за край пера, обозвал меня болваном. Я, конечно, сказал – виноват-с, потому что же я могу сказать? Но было очень обидно. Конечно, я получил на чай целковый, но не в извинение это, а для фону, чтобы пыль пустить и благородство свое перед барыней показать, а не в возмещение. Конечно, Кирилл Саверьяныч по шустроте и оборотливости ума своего обратил все это в недоумение, которое постигает и самых прославленных людей, и все-таки это нехорошо. Он даже говорил про книгу, в которой один ученый написал, что всякий труд честен и благороден и словами человека замазать нельзя, но я-то это и без книги знаю, и все-таки это нехорошо. Хорошо говорить, как не испытано на собственной персоне, ему хорошо, как у него заведение, и если его кто болваном обзовет, он сейчас к мировому. А ты завтра же полетишь за скандал и уже не попадешь

в первоклассный ресторан, потому сейчас по всем ресторанам зазвонят. А ученый может все писать в своей книге, потому его никто болваном не обзовет. Побывал бы этот ученый в нашей шкуре, когда всякий за свой, а то и за чужой целковый барина над тобой корчит, так другое бы сказал. По книгам-то все гладко, а вот как Агафья Марковна порасскажет про инженера, так и выходит на поверку...

Ужинали у нас ученые-то эти. Одного лысенького поздравляли за книгу, а посуды наколотили на десять целковых. А не понимают того, с кого за стекло вычитает метрдотель по распоряжению администрации. Нельзя публику беспокоить такими пустяками, а то могут обидеться! Они, по раздражению руки, в горячем разговоре бокальчик о бокальчик кокнул, а у тебя из кармана целковый выхватили. Это ни под какую науку не подведешь.

Поглядишь, как Антон Степаныч деликатесы разные выбирает и высшей маркой запиивает, так вот и думается – за какой такой подвиг ему все сие ниспослано – и дома, и капиталы, и все? И нельзя понять. И потом, его даже приятели прямо жуликом называют. Чистая правда.

Как был ежегодный обед правления господ фабрикантов, у которых Антон Степаныч дела ведет по судам и со всеми судится, то были все капиталисты и даже всесветный миллионер Гуцин. И за веселым обедом – сам слышал – этот самый господин Гуцин хлопнет Антон Степаныча по ляжке и вытянет:

– Да уж и жу-у-лик ты, золотая голова!

И все очень смеялись, и Антон Степаныч подмигивал и хвастал, что не на их лбу гвозди гнуть. А как прибыли потом французенки на десерт, так одна попробовала тоже господину Гуцину потрафить и тоже Антон Степаныча жуликом, а у ней все выходило – зу-у-лик, – так погоди! Очень из себя господин Глотанов вышли и в нетрезвом виде, конечно, крикнули:

– Всякая... такая... тоже!..

Очень резкое слово произнесли и употребили жест. И такой вышел скандал, что только при уважительном отношении к нашему ресторану осталось без последствий. А у девицы все платье зернистой икрой забрызгали... Целый жбан перевернули! Всего бывало.

Смотришь на все ото, смотришь... А-а... Несчастные творения бога и творца! Сколько перевидал я их! А ведь чистые и невинные были, и вот соблазнены и отданы на уличное терзание. И никакого внимания... Придешь, бывало, домой, помолишься богу и ляжешь... А за стенкой Наташа. Тихо так дышит... И раздумываешься... Что ожидает ее в жизни? Ей не останется от нас купонов и разных билетов, выигрышных и других, и домов многоэтажных, как получили в наследство барышни Пупаевы, в доме коих я тогда квартировал.

II

Поживали мы тихо и незаметно, и потом вдруг пошло и пошло... Таким ужасным ходом пошло, как завертелось...

Как раз было воскресенье, сходил я к ранней обедне, хотя Колюшка и смеялся над всяким религиозным знамением усердия моего, и пил чай не спеша, по случаю того, что сегодня ресторан отпираем в двенадцать часов дня. И были пироги у нас с капустой, и сидел парикмахер и друг мой, Кирилл Саверьяныч, который был в очень веселом расположении: очень отчетливо прочитал Апостола за литургией. И потому говорил про природу жизни и про политику. Он только по праздникам и говорил, потому что, как верно он объяснял, будни предназначены для неусыпного труда, а праздники – для полезных разговоров.

И когда заговорил про религию и веру в Вышнего творца, я, по своему необразованию, как повернул потом Кирилл Саверьяныч, возроптал на ученых людей, что они по своему уму уж слишком полагаются на науку и мозг, а бога не желают признавать. И сказал это от горечи души, потому что Кол юшка никогда не сходит в церковь. И сказал, что очень горько давать образование детям, потому что можно их совсем загубить. Тогда мой Колюшка сказал:

– Вы, папаша, ничего не понимаете по науке и находитесь в заблуждении. – И даже перестал есть пирог. – Вы, – говорит, – ни науки не знаете, ни даже веры и религии!..

Я не знаю веры и религии! Ну, и хотел я его вразумить насчет его слов. И говорю:

– Не имеешь права отцу так! Ты врешь! Я, конечно, твоих наук не проник и географии там не учился, но я тебя на ноги ставлю и хочу тебе участь предоставить благородных людей, чтобы ты был не хуже других, а не в холуи тебя, как ты про меня выражаешься... – Так его и передернуло! – А если бы я религии не признавал, я бы давно отчаялся в жизни и покончил бы, может быть, даже самоубийством! И вот учишься ты, а нет в тебе настоящего благородства... И горько мне, горько...

И Кирилл Саверьяныч даже в согласии опустил голову к столу, а Колюшка мне напротив:

– Оставьте ваши рацеи! Если бы, – говорит, – вам все открыть, так вы бы поняли, что такое благородство. А ваши моления богу не нужны, если только он есть!

Ведь это что такое! Я ему про веру и религию, а он свое... Клял я себя, зачем по ученой части его пустил. Охалками книги таскал и по ночам сидел, сколько керосину одного извел. И еще Васиков этот ходил к нему из управления дороги, чахоточный... И злой стал, прямо как чумной, и исхудал...

Я на него пальцем погрозил за его слово о творце, и Кирилл Саверьяныч так это на него посмотрел, – очень он мог так, и рот, бывало, скосит, – а тот как вскочит! И стал всех... и даже... известных лиц ругать и называть всякими словами, так что было страшно, и Кирилл Саверьяныч пришел в беспокойство и все покашливал и поглядывал в окно.

– Напрасно старались! – прямо кричит. – Знаю, какого вам благородства нужно! Тут вот чтобы!.. – в пиджак себя тыкать стал. – Так я буду лучше камни по улицам гранить, чем доставлю вам такое удовольствие!

Прямо как сумасшедший. А? Зачем я-то старался? Зачем просил господина директора училища, чтобы от платы освободили? И только потому, что они у нас в ресторане бывали и я им угождал и повара Лексей Фомича просил отменно озаботиться, они в снисхождение моим услугам сделали льготу. И три раза прошения подавал с изложением нужды, и счета... сколько раз укорачивал, – можно это при сношении с марочником на кухне, – и внимания добился. И за все это такие слова!

Но тут уж сам Кирилл Саверьяныч стал ему объяснять:

– Вы, – говорит, – еще очень молодой юноша и с порывом и еще не проникли всей глубины наук. Науки постепенно придвигают человека к настоящему благородству и дают вечный ключ от счастья! – Прямо замечательно говорил! – Вера же и религия смягчит дух. И вот, – говорит, – смотрите, что будет с науками. Я, – говорит, – сейчас, конечно, парикмахер, и если бы не научное совершенство в машинах, то должен бы ножницами наголо стричь десять минут при искусстве, как я очень хороший мастер. А вот как изобрели машинку, то могу в одну минуту. Так и все. И придет такое время, когда ученые изобретут такие машины, что все будут они делать. И уж теперь многое добывают из воздуха машинами, и даже сахар. И вот когда все это будет, тогда все будут отдыхать и познавать природу. И вот почему надо изучать науки, что и делают люди благородные и образованные, а нам пока всем терпеть и верить в промысел божий. Этого вы не забываете!

Я вполне одобрил эти мудрые слова, но Колюшка не унялся и прямо закидал Кирилла Саверьяныча своими словами:

– Не хочу вашей чепухи! А-а... По-вашему, пусть лошадка дохнет, пока травка вырастет? Вам хорошо, как вы духами торгуете да разным господам морды бреете не своими трудами! Красите да лак наводите, плечи им прикрываете, чтобы были в освеженном виде!..

Кирилл Саверьяныч осерчал, как очень самолюбивый, и даже поперхнулся.

– Евангелие, – говорит, – сперва разучите, тогда я с вами буду толковать! Я философию прошел! Вы сперва с мое прочтите, тогда... Я вашего учителя научу, а не то что...

И пальцем себя в грудь. Ну, и мой-то ему тоже ни-ни... Тот пять – он ему двадцать пять! Тоже много прочитал.

– А-а... Вы на Евангелие повернули! Так я вам его к носу преподнесу! Веру-то вашу на все пункты разложу и в нос суну! Цифрами вам ваши машины представлю, лохмотьями улицы запружу! Такого вам Евангелия нужно?! Вы, – говорит, – на нем теперь бухгалтерию заносите за бритье и стрижку!..

И прямо как бешеная собака. Очень он у меня горячий и чувствительный. Ну, и здесь тоже бог не обидел. Бегает по комнате, пальцами тычет, кулаком грозит и пошел про жизнь говорить, и про политику, и про все. И фамилии у него так и прыгают. И славных и препро-славных людей поминает... и печатает. И про историю... Откуда что берется. Очень много читал книг. И вот как надо, и так вот, и эдак, и вот в чем благородство жизни!

Кирилл Саверьяныч совсем ослаб и только рот кривил. Но это он так только, для вида ослаб, а сам приготавливал речь. И начал так вежливо и даже рукой так:

– Это с вашей стороны один пустой разговор и изворот. Это все насилие и в жизни не бывает. Подумайте только хорошенько, и вам будет все явственно. Я очень хорошо знаю политику и думаю, что...

А Колюшка как стукнет кулаком по столу – посуда запрыгала. Он широкий у меня и крепкий, но очень горяч.

– Ну, это предоставьте нам, думать-то, а вы морды брейте!

Очень дерзко сказал. А Кирилл Саверьяныч опять тихо и внятно:

– Погодите посуду бить. Вы еще не выпили, а крикаете. И потом, кто это вы-то? Вы-то, – говорит, – вот кончите ученье, будете инженером, мостики будете строить да дорожки проводить... Как к вам денежки-то поплывут, у вас на ручках-то и перчаточки, и тут туго, и здесь, и там кой-где лежит и прикладывается. И домики, и мадамы декольте... С нами тогда, которые морды бреют-с, и разговаривать не пожелаете... Нет, вы погодите-с, рта-то мне не зажимайте-с! Это потом вы зажмете-с, когда я вас брить буду... И книжечки будете читать, и слова разные хорошие – девать некуда! А ручками-то перчаточными кой-кого и к ногтю, и за горлышко... Уж всего повидали-с – девать некуда! А то правда! Правда-то, она... у Петра и Павла!

Прямо завесил все и насмарку. Необыкновенный был ум! Колюшка только сощурился и в сторону так:

– Вам ото по опыту знать! А позвольте спросить, сколько вы с ваших мастеров выколачиваете?

И только Кирилл Саверьяныч рот раскрыл, вдруг Луша вбегает и руками так вот машет, а на лице страх. Да на Колюшку:

– Матери-то хоть пожалей! Погубишь ты нас! Кривой-то ведь все слышал!..

Ах ты, господи! О нем-то мы и забыли, которого гнать-то все собирались. Очень по всем поступкам неясный был человек. Раньше будто в резиновом магазине служил, и жена его с околоточным убежала. Снял у нас комнатку с окном на помойку и каждый вечер пьяный приходил и шумел с собой. Сейчас гитару со стены и вальс «Невозвратное время» до трех ночи. Никому спать не давал, а если замечание – сейчас скандалить:

– Еще узнаете, что я из себя представляю! Думаете, писарь полицейский? Не той марки! У меня свои полномочия!

Прямо запугал нас. И такая храбрость в словах, что удивительно. Время-то какое было! А то бросит гитару и притихнет. Луша в щелку видала. Станет середь комнатки и волосы ершит и все осматривается. И клопов свечкой под обоями палил, того и гляди – пожар наделает. Навязался, как лихорадка.

Так вот этот самый Кривой – у него левый глаз был сощурен – появляется вдруг позади Луши в новом пиджаке, лицо ехидное, и пальцем в нас тычет с дрожью. И по глазу видно, что готов.

– Вот когда я вас устерег! Чи-то-ссс?! Вы меня за сыщика признавали, ну так номером ошиблись! Я вам поставлю на вид политический разговор! Чи-то-ссс?!..

Знаю, что вовсе дурашливый человек, да еще на взводе, молчу. Колюшка отворотился – не любил он его, а Кирилл Саверьяныч сейчас успокаивать:

– Это спор по науке, а не насчет чего... И не желаете ли стаканчик чайку...

Вообще тонко ото повел дело.

– И мы, – говорит, – сами патриоты, а не насчет чего... И вы, пожалуйста, не подумайте. У меня даже парикмахерское заведение.

А Кривой совсем сощурился и даже боком встал.

– Оставьте ваши комплименты! Я и без очков вижу отношение! Произвел впечатление?! Чи-то-ссс? Я, может, и загублю вас всех, и мне вас очень даже жалко, по моему образованному чувству, но раз мною пренебрегли и гоните с квартиры, как последнюю сволочь, не могу я допустить! И ежели ты холуй, – это мне-то он, – так я ни у кого...

Очень нехорошо сказал. Как его Колюшка царапнет стаканом – и залил всю фантазию и пиджачок. Вскочили все. Кирилл Саверьяныч Колюшку за руки схватил, я Кривому дорогу загородил к двери, чтобы еще на улице скандала не устроил, Луша чуть не на коленки, умоляет снизойти к семейному положению, и Наташа тут еще, а Кривой выпучил глаза, да так и сверлит и пальцем в пиджак тычет. Такой содом подняли... А тут еще другой наш жилец заявился, музыкантом ходил по свадьбам и на большой трубе играл, Черепяхин по фамилии, Поликарп Сидорыч, сложения физического... И сейчас к Наташке:

– Не обидел вас? Пожалуйста, отойдите от неприятного разговора...

И сейчас на Кривого:

– Я вам голову оторву, если что! Насекомая проклятая! Сукин вы сын после этого! При барышне оскорбляете!..

И его-то я молю, чтобы не распространял скандала, но он очень горячий и к нам расположен. Так и норовит в морду зацепить.

– Пустите, я его сейчас отлакирую! Я ему во втором глазе затмение устрою! Сибирный кот!..

А Кривой шебуршит, как вихрь, и нуль внимания. И Кирилл Саверьяныч его просил:

– Вы молодого человека хотите погубить, это недобросовестно! Это даже с вашей стороны зловредно! Дело о машинах шло и сути жизни, а вы вывернули на политическую подкладку...

А тот себя в грудь пальцем и опять:

– Я знаю, какая тут подкладка! Он мне новый пиджак изгадил! Я не какой-нибудь обормот!.. У меня интеллигентные замашки!

– Это мы сделаем-с... – Кирилл Саверьяныч-то. – Отдадим в заведение и все выведем. У меня и брат двоюродный у Букермана служит...

– Дело, – кричит, – не в пиджаке! Вы на пиджак не сводите! Тут материя не та! У меня кровь благородного происхождения, и ничто не может меня удовлетворить! Я, может, еще подумаю, но пусть сейчас же извинения просит!..

Я, конечно, чтобы не раздувать, Колюшке шепотом:

– Извинись... Ну, стоит со всяким...

– И пиджак мне чтобы бесприменно новый!

А Колюшка как вскинется на меня:

– Чтобы я у такого паразита!..

– А-а... Я паразит? Ну, так я вам пок-кажу!..

Сейчас в карман – раз, и вынимает бумажку. Так нас всех и посадил.

– А это чи-то-ссс?! Паразит? Сами желали-с, так раскусите циркуляр! До свидания.

И пошел. Кирилл Саверьяныч за ним пустился, а я говорю Колюшке:

– Что ты делаешь со мной? Я кровью тебя в скормил-воспитал, от платы тебя освободили по моему усердному служению... А?! И ты так! Что теперь будет-то?

– Напрасно, – говорит, – себя беспокоили и всякому каналье служили! Не шпана за меня платила, которая сама сорвать норовит... А Кривой, пожалуй, и не виноват... Где падаль, там и черви.

– Какие черви?

– Такие, зеленые... – И смеется даже!..

– Да ты что это? – говорю ему строго. – Что ты из себя воображаешь?

– Ничего. Давайте чайку попьем, а то вам скоро в ваш ресторан...

– Ну, ты мне зубы не заговаривай, – говорю. – Ты у меня смотри!

– Чудак вы! Чего расстроились? Я вас хотел от оскорбления защитить!

– Хорошо, – говорю, – защитил! Теперь он к мировому за пиджак подаст, в полицию донесет, какие ты речи говорил... Сам видишь, какой каверзник! Он теперь тебе и в училище может повредить...

А тут Кирилл Саверьяныч бледный прибежал, руками машет, галстук на себе вертит в расстройстве чувств.

– Ушел ведь! Должно быть, в участок! И меня теперь с вами запутают... Меня все знают, что я мирный, а теперь из-за мальчишки и меня! Ты помни, – говорит, – я про машины говорил, и про науку, и насчет веры в бога и терпения... Теперь время сурьезное, а мне и без политики тошно... Дело падает...

Схватил шапку и бежать. И пирога не доел. Что делать! Хотел за ним, совета попросить, смотрю – а уж без двадцати двенадцать: в ресторан надо. А день праздничный, бойкий, и надо начеку быть.

Иду и думаю: и что только теперь будет! Что только будет теперь!

III

И как раз в тот день чудасия у нас в ресторане вышла. Игнатий Елисеич новое распоряжение объявил:

– С завтрашнего дня чтобы всем номерам подковаться для тишины!

Шибко у нас смеялись, а мне не до смеху. Слушаешь, что по карточке заказывают и объясняют, как каплунчики ришелье деландес подать, а в голове стоит и стоит, как с Кривым дело обернется. А тут еще господин Филинов, директор из банка, – у них очень большой живот, и будто в них глист в сто аршин живет, в животе, – который у нас по всей карте прошел на пробах, очень знаток насчет еды, подняли крышечку со сковородки – и никогда не велят поднимать, а сами всегда и даже с дрожью в руке – и обиделись. Сами при пятнадцатом номере заказывали, чтобы им шафруа из дичи¹ с трюфелями, а отправили назад.

– Я, – говорят, – и не думал заказывать. Это я еще вчера пробовал, а заказал я... – заглянул в карту и ткнул в стерлядки в рейнском вине. – Я стерлядки заказал!

Пожалуйте! А я так явственно помнил, что шафруа, да еще пальцем постучали, чтобы французский трюфель был. И метрдотель записал на меня ордер на кухню. Хоть сам ешь! Да на кой они мне черт и шафруа-то! В голове-то у меня – во-от!

И что такое с Колюшкой случилось, откуда у него такие слова? Рос он рос, и не видал я его совсем. Да когда и видеть-то! На службу уходишь рано, минуту какую и видишь-то, как он

¹ Шафруа (искаж. шофруа; chaff-roi – фр.) – горячее блюдо, букв.: королевское жаркое.

уроки читает, а придешь ночью в четвертом часу – спит. Так и не видал я его совсем, а уж он большой. И не вспомнишь теперь, какой же он был, когда маленький... Точно у чужих рос. И не приласкал я его как следует. Времени не было поласкать-то.

И вот не по нем была моя должность. А я так располагал, что выйдет он в инженеры, тогда и службу побоку, посуду завести и отпускать напрокат для вечеров, балов и похорон. И домик купить где потише, кур развести для удовольствия... Очень я люблю хозяйство! И Луше-то очень хотелось... И сам ведь я понимаю, какая наша должность и что ты есть. Даже и не глядят на лицо, а в промежутки стола и ног. У нас даже специалист один был, коннозаводчик, так на спор шел, что одним пальцем может заказать самое полное на ужин при нашем понимании. Без слова чтобы... И как что не так – без вознаграждения. Отсюда-то вот и резиновые подкладки на каблучки. Игнатий Елисеич так и объяснил:

– Был директор в Париже, и там у всех гарсонов, и никакого стуку. Это для гостей особенно приятно и музыке не мешает.

А потом заметил у меня пятно на фраке и строго приказал вывести или новый бок вставить. А это мне гости один объясняли, как им штекс по-английски сготовить, и ложечкой по невниманию ткнули. Гости обижаться могут!

Чего ж тут обижаться! Что у меня пятно на фраке при моем постоянном кипении? А что такое пятно? Вон у маклера Лисичкина и на брюках, и на манишке... А у господина Кашеротова, если взглядеться, так везде, и даже тут... Обижаются... А я не обижаюсь, что мне господин Эйлер, податной инспектор, сигаркой брюку прожгли? А образованный человек – и учитель гимназии, и даже в газетах пишут – господин... такая тяжелая фамилия... так налимонился ввиду полученных отличий, что все вокруг в кабинете в пиру с товарищами задрызгали, и когда я их под ручки в ватер выводил, то потеряли из рукавного манжета ломтик осетрины провансаль, и как начали в коридоре лисиц драть, так мне всю манишку, склонивши голову ко мне на грудь, всю манишку и жилет винной и другой жидкостью из своего желудка окатили. Противно смотреть на такое необразование! А как Татьянин день... уж тут-то пятен, пятен всяких и по всем местам... Нравственные пятна! Нравственные, а не матерьяльные, как Колюшка говорил! Пятна высшего значения! Значит, где же правда? И, значит, нет ее в обиходе? К этому я ужасно в последнее время склоняюсь.

И почему Колюшка так все знал, будто сам служил в ресторане? Кто же это все узнает и объясняет даже юношам? Я таких людей не знаю. Все вообще на это без внимания у нас. Но кто-нибудь уж есть, есть. Если бы повстречать такого справедливого человека и поговорить! Утешение большое... Знаю я про одного человека, очень резко пишет в книгах и по справедливости. И ума всеогромного, и взгляд строгий на портрете. Это граф Толстой! И имя ему Лев! Имя-то какое – Лев! Дай бог ему здоровья. Он, конечно, у нас не бывает и не знает, что я его сочинения прочитал, какие мог по тесноте времени и Колюшка предлагал. Очень замечательные сочинения! Вот если бы он зашел к нам да сам посмотрел! И я бы ему многое рассказал и обратил внимание. Ведь у нас не трактир, а для образованных людей... А если с умом вникнуть, так у нас вся жизнь проходит в глазах, жизнь очень разнообразная. Иной раз со всеми потрохами развертывается человек, и видно, что у него там за потроха, под крахмальными сорочками... Сколько людей всяких проходит, которые, можно сказать, должны учить и направлять нас, дураков... И какой пример!

И вот тогда, в то самое воскресенье, на моих глазах такое дело происходило. И кто ж это? Очень образованный человек и кончил курс наук в училище, в котором учат практической жизни, и потому называется оно – практическая академия. Значит, все на практике. Всю жизнь должна показывать на практике. И ведь сын благородных родителей и по званию коммерции советник. Иван Николаевич Карасев. Неужели же ему в практической академии не внушили, как надо снисходить к бедному человеку, добывающему себе пропитание при помощи музыкальных способностей и музыки!..

Чего-чего только не повидал я за свою службу при ресторанах, даже нехорошо говорить! Но все это я ставлю не так ужасно, как насмешие над душой, которая есть зеркало существа.

Этот господин Карасев бывают у нас часто, и за их богатство им у нас всякое внимание оказывается, даже до чрезвычайности. Сам директор Штросс иногда сидят с ними и рекомендуют собственноручно кушанья и напитки, и готовит порции сам главный кулинар, господин Фердинанд, француз из высшего парижского ресторана, при вознаграждении в восемь тысяч; он и по винам у нас дегустатор, и может узнать вино даже сквозь стекло. И берет даже с поваров за места! Очень жадный. А Игнатий Блисеич с Карасева глаз не спускает и меня к ним за мою службу и понимание приставляет служить, а сам у меня выхватывает блюда и преподносит с особым тоном и склонив голову, потому что прошел высшую школу ресторанов.

Приезжают господин Карасев в роскошном автомобиле с музыкой, и еще издали слышно, как шофер играет на аппарате в упреждение публики и экипажей. И тогда дают знать Штроссу, а метрдотель выбегает для встречи на вторую площадку.

Пожалуй, они самый богатый из всех гостей, потому что папаша их скончался и отказал десять миллионов и много фабрик и имений. Такое состояние, что нельзя прожить никакими средствами, потому что каждую минуту у них. Игнатий Блисеич высчитал, капитал прибывает на пять рублей. А если они у нас три часа посидят, вот и тысяча! Прямо необыкновенно. А одеваются каждый раз по последней моде. У них часы в бриллиантах и выигрывают бой, ценою будто в десять тысяч, от французского императора из-за границы куплены на торгах. А на мизинце бриллиант с орех, и булавка в галстухе с таким сиянием, что даже освещает лицо голубым светом. Из себя они красивы, черноусенькие, но рост небольшой, хоть и на каблуках. И потом, голова очень велика. Но только они всегда какие-то скучные, и лицо рыхлое и томительное ввиду такой жизни. И, слышно, они еще в училище были больны такой болезнью, и оттого такая печальная тоска в лице.

К нам они ездили из-за дамского оркестра, замечательного на всю Россию, под управлением господина Капулады из Вены.

Наш оркестр очень известный, потому что это не простой оркестр, а по особой программе. Играет в нем только женский персонал особенного подбора. Только скромные и деликатные и образованные барышни, даже многие окончили музыкальную консерваторию, и все очень красивы и строги поведением, так что, можно сказать, ничего не позволят допустить и гордо себя держат. Конечно, есть, что некоторые из них состоят за свою красоту и музыкальные способности на содержании у разных богатых фабрикантов и даже графов, но вышли из состава. Вообще барышни строгие, и это-то и привлекает взгляд. Тут-то и бьются некоторые – одолеть. Они это играют спокойно, а на них смотрят и желают одолеть.

И вот поступила к нам в оркестр прямо красавица, то-о-ленькая и легкая, как девочка. С лица бледная и брюнетка. И руки у ней, даже удивительно, – как у дити. Смотреть со стороны одно удовольствие. И, должно быть, нерусская: фамилия у ней была Гуттелет. А глаза необыкновенно большие и так печально смотрят.

Я-то уж много повидал женщин и девиц в разных ресторанах: и артисток, и балетных, и певиц, и вообще законных жен, и из высшего сословия, и с деликатными манерами, содержания, и иностранных, и такой высшей марки, как Кавальери², признанная по всему свету, и ее портрет даже у нас в золотой гостиной висит – от художника из Парижа, семь тысяч заплачено. Когда она раз была у нас и ужинала в золотом салоне с высокими лицами, я ей прислуживал в лучшем комплекте и видел совсем рядом... Так вот она, а так я... Но только, скажу, она на меня особого внимания не произвела. Конечно, у ней тут все тонко и необыкновенно, но все-таки видно, что не без подмазки, и в глаза пущена жидкость для блеска глаз, я это знаю... но барышня Гуттелет выше ее будет по облику. У Кавальери тоже глаза выдающие, но только в

² Кавальери Лина (1874–1944) – итальянская оперная певица; дебютировала в римском кафешантане в 1887 г.

них подозрительность и расчет, а у той такие глаза, что даже лицо освещается. Как звезды. И как она к нам поступила – неизвестно. Только у нас смеялись, что за ней каждый раз мамаша-старушка приходила, чтобы ночью домой проводить.

И вот этот Иван Николаевич Карасев каждый вечер стали к нам наезжать и столик себе облюбовали с краю оркестра, а раньше все если не в кабинете, то против главных зеркал садились. Приедут к часу открытия музыки и сидят до окончания всех номеров. И смотрят в одно направление. Мне-то все наглядно, куда они устремляются, потому что мы очень хорошо знаем взгляды разбирать и следить даже за бровью. Особенно при таком госте... И глазом поведут с расчетом, и часы вынут, чтобы бриллиантовый луч пустить прямо в глаз. Но ничего не получается. Водит смычком, ручку вывертывает, а глаза кверху обращены, на электрическую люстру, в игру хруст ал ей. Ну, прямо – небожительница и никакого внимания на господина Карасева не обращает. А тот не может этого допустить, потягивает шлосганисберг пятьдесят шесть с половиной – семьдесят пять рублей бутылочка! – и вздыхает от чувства, а ничего из этого не выходит.

И вот сидели они тогда, и при них для развлечения директор Штросс, а я в сторонке начеку стою. Вот Карасев и говорит:

– Не понимаю! – резко так. – И в Париже и в Лондоне. И я удивлен, что...

Очень резко. А как гость горячо заговорил, тут только смотри. Даже наш Штросс задвигался, а он очень спокойный и тяжелый, а тут беспокойство в нем, и сигару положил. Подбородок у него такой мясистый, а заиграл. Притронулся к руке господина Карасева, а голос у него жирный и скрипучий, так что все слышно.

– Глубокоуважаемый... У нас не было еще... но как угодно... для музыки...

И сигару засосал. А Карасев так ему горячо:

– Вот! Это у меня правило, и я желаю оценить. И я всегда...

А Штросс не отступает от своего.

– У вас, – говорит, – тонкий вкус, но я не ручаюсь...

И что-то шепотом. Уж и хитрый, хоть и неповоротливый по толщине. Сказывали, будто он уж заговаривал с барышней в коридоре, но она очень равнодушно обошлась. А Карасев плечами пожал и меня пальцем. Вынимает карточку и дает мне:

– Сейчас же к Дюферлю, чтоб букет из белых роз и в середку черную гвоздику! И чтобы Любочка собрала! Она мой вкус знает. Живей!

Вижу, какое дело начинается. А-а, плевать. Покатил я за букетом, а в мыслях у меня, сколько он мне за хлопоты отвалит. Вот и дело с Кривым уладим, дам ему трешник за пиджак... А как вспомнил про его слова – хоть домой беги. Вот что внутри у меня делается.

Подкатил к магазину, а там уж запираются. Но как показал карточку – отменили. Хозяин, немец, так и затормошился. Руки потирает, спешит, барышень встормошил...

– Сейчас, сейчас... Где нож? Проволочки скорей!..

Мальчишку пихнул, схватил кривой ножик и прямо в кусты.

Сказал я ему, что барышне Любочке приказали делать, а он и не вылезает. Тогда я уж громче. Выскочил он из цветов, вынул из жилетки полтинник и сует:

– Скажите, что она... Ее сейчас нет, но скажите, что она... Я по их сделаю, уж я знаю... Для молодой девицы букет или как?

И барышням по-французски сказал, а те смеются. Сказал я – для кого.

– А-а... в ресторане? Хорошо.

И вдруг красную розу – чик!

– Из белых наказали, – говорю. – И гвоздику черную в середку.

– Да уж знаю! – И опять с барышнями по-своему, а те улыбаются. – Будет с гвоздикой.

И посвистывает. Роскошный букет нарезали, на проволочки наvertели, распушили, а красную-то растрепали на лепестки и внутри пересыпали. И вышел белый. А черная гвоздика,

как глаз, из середины глядит. Лентами с серебром перехватил – и в бант. Потом поднес лампочку на шнурке к стеклянному шкафу и кричит;

– Наденька, выберите на вкус... Ньюточка!..

Стали они спорить. Одна трубку с серебряной змейкой указывает, а другая не желает.

– Им, – говорит, – Фрина³ лучше... Я его знаю вкус.

А немец и разговаривать не стал.

– Змею – ото артистке, а тут Фрина лучше, раз в ресторане...

И вытащил из шкафчика. Почему Фрина – неизвестно, а просто женская фигурка вершков восьми, руки за голову, и все так, без прикрытия. Букет ей в руки, за голову, закрепил во вставочку, и вышло удобно в руках держать за ножки. Потом на ленты духами spraysнул и в станок, в картон поместил.

– Осторожней, пожалуйста... И скажите, что Любочка. Но помните...

Сам даже дверь отворил.

Только я наверх внес, сейчас Игнатий Елисеич подлетел, букет вытянул и на руку от себя отставил. И языком щелкнул, как фигурку увидал.

– Вот так штучка! – И пальцем пощекотал.

Очень все удивлялись и посмеялись. Потом через всю белую залу для обращения внимания понес. Встал перед Иваном Николаевичем, а букет на отлете держит. Очень красиво вышло. А тот ему:

– Дайте на стол! – даже строго сказал и платочком обтерся.

Очень им букет понравился, и директор хвалил. А тот все:

– Вот мой вкус! Очень великолепно?

– Очень, – говорит, – хорошо, но она как взглянет... Она от нас в театр все собирается...

– Пустяки... – И пальцами пощелкали.

А тут пришел офицер и занял соседний столик, саблей загремел. Оркестр играет номер, а барышни уж заметили, конечно, букет и поглядывают. Не случилось этого у нас раньше. Ну, в кабинетах бывали подношения разным, а теперь прямо как на театре. А Капулады и не глядит. Водит палочкой, как со сна. Конечно, ему бы поскорей программу выполнить и фундамент заложить. А барышня Гуттелет такая бледная и усталая смычком водит, как во сне. А офицер вытащил из-за борта стеклышко, встряхнул и вставил в глаз. Отвалился на стуле и на оркестр устремил в пункт, где она в черном платье с кружевами и голыми руками сидела.

Уж видно, на что смотрит. Вот, думаю, и еще любитель. Много их у нас. Почти все любители. А он вдруг меня стеклышком:

– Вот что, гм...

Вижу, будто ему не по себе, что я им в глаза смотрю, а сам о них думаю. Точно мы друг друга насквозь видим.

– Это, – говорит, – давно этот оркестр играет? – И глаза отвел.

А я уж понимаю, что не это ему знать надо. Я их всех хорошо знаю, – все больше обходом начинают.

– Так точно, – говорю. – Третий год...

Как не знает... И раньше бывал у нас. Знает, отлично знает.

– А-а-а... – А потом вдруг и перевел: – Кто эта, справа там от середины, худенькая, черненькая?

Вот ты теперь, думаю, верно спросил.

– Нам неизвестно... Недавно поступили.

А тут оркестр зачастил – к концу, значит. Карасев и дал знать метрдотелю:

³ Древнегреческая гетера, любовница скульптора Праксителя; позолоченная статуя обнаженной Фрины была установлена, по ее повелению, в Дельфах.

– Подайте мамзель Гуттелет!

Игнатий Елисеич поднял букет кверху и опять его на руку отставил и так держит, что отовсюду стало видать, и дожидается. И все стали смотреть, а директор поднялись и вышли. А барышни так спешат, так спешат, понимают, что сейчас необыкновенное подношение будет, и, конечно, интересуются, так что Капулади палочкой постучал и реже повел. А та-то, как опустила глаза от люстры, посмотрела на букет и как бы не в себе стала. Только Капулади все равно. Водит и водит палочкой, как спит. Потом сделал вот так, точно разорвал слева направо, и кончилось.

Сейчас метрдотель перегнулся, даже у него фалды разъехались и хлястик показался от брюк, – очень пузастый он, – и букет через подставки подает двумя руками. Очень торжественно вышло и обратило большое внимание. А барышня даже откинулась на стуле и опустила руки. И Игнатию Елисеичу пришлось попотеть. Все протягивал букет в очень трудном положении, как из-за стульев что вытаскивал, и стал у него затылок вроде свеклы. И даже боком изогнулся, чтобы барышню от публики не заслонить. Потом его Иван Николаевич распушил. А как он протягивал, сам-то Иван Николаевич тоже напряглись в направлении букета и лафитничек держат у губ, будто пьют за здоровье. А у метрдотеля голос густой, и на всю залу отдалось:

– Вам-с... букет вам-с от Ивана Николаевича Карасева!..

Но только это сразу кончилось. Капулади увидал, как та удивлена, сам взял букет и поставил на пол у нотной подставки. Потом сразу палочкой постучал, и вальс заиграли. А господин Карасев приказали мне директора пригласить.

Конечно, стало очень понятно, для чего букет. И все принялись барышню рассматривать. А меня даже один гость знакомый, старичок, пивоваренный заводчик, господин Арников, очень отважный насчет подобных делов, подозвали и задали вопрос:

– Это карасевская, что ли, новенькая, хе-хе?.. Ничего това-рец...

Вот. Как знак какой поставлен. Это и я пойму. Артисткам там – другое дело, а тут ее и не слышать в музыке. Это уж обозначение, что, мол, желаю тебя домогаться и хочу одолеть!

Так явственно помню я все, потому что этот самый Карасев и потом меня очень беспокоили, а у меня дома такое тревожное положение началось. С Кривого-то и началось...

И много хлопот мне в тот вечер выдалось по устройству замечательного пира, а на душе – как кошки... Посмотришь на окна и думаешь: а что-то дома? Ноет и ноет сердце. И все кругом – как какая насмешка. И огни горят, и музыка, и блеск... А посмотришь в окно – темно-темно там и холодно. Рукой подать, за переулком, дом барышень Пупаевых, а на заднем дворе, во флигельке, – вонючий флигелек и старый, – Луша халаты шьет на машинке для больницы... И думается: а что завтра-то?

А господин Карасев с директором свое:

– Она, конечно, слышала обо мне? Я ей могу место устроить в хорошем театре... И у меня такая мысль пришла, чтобы нам троим поужинать...

А Штросс ему наперекор, хоть и вежливо:

– У нас от них подписка отбирается... и у нас аристократический тон и семейный... Вы уж простите, глубокоуважаемый...

А господин Карасев, конечно, привыкли видеть полное удовлетворение своих надобностей и настойчиво им:

– Я не по-ни-маю... я не с какой стороны... а из музыки...

И директор им объясняет:

– Будьте спокойны, я поста-ра-юсь, но...

А офицер вдруг поднялся и – к Капулади. Как раз играть кончили. Поздоровался за руку и в ноты пальцем что-то... И барышням поклонился и про ноты. В руки взял и головой так, как удивлен. Капулади прояснел, стал улыбаться, и усы у него поднялись, а барышни головки вытянули и слушают, как офицер про ноты им. Пальцем тычет плечами пожимает. Пожимал-пожи-

мал, на подставку облокотился и саблей-то букет и зацепи! И упала Фрина набок. Но сейчас поднял и к барышне Гуттелет с извинением все оглядывается, куда поставить. И спрашивает ее. А она вся пунцовая стала и головкой кивнула. Он мне сейчас пальцем:

– Унесите. Мамзель просит убрать!

Куда убрать? Я было замялся, а он мне строго так:

– Несите! Что вы стоите? Мамзель просит убрать!

А тут метрдотель налетел и срываю мне:

– В уборную снести!

И понес я букет мимо господина Карасева. Прихожу, а офицер с барышнями про игру разговаривает, и лицо такое умное:

– Я, – говорит, – сам умею... Могу слышать каждую ноту... Это даже удивительно, как, Дамская игра, – говорит, – много лучше...

А с Капулады по-французски. А тот, как кот, жмурится и головой качает:

– Та-та... снаток... приятно шюство... та-та... Еще буду играть.

Проснулся совсем, палочку взял и очень тонкую музыку начал.

А господина Карасева взяло, вот он и говорит Штрессу:

– Это кто такой, лисья физиономия?

– А это князь Шуханский, гусар...

– А-а... прогорелый!.. – И перстнями заиграл.

А потом так радостно:

– У меня план пришел!.. Всему оркестру ужин?.. Ну, это-то возможно или как?.. Я член из консерватории... Вы скажите...

А Штресс уж не мог тут ничего и говорит:

– Конечно, они всегда получают у нас ужин... Ежели согласятся...

– От вас зависит!.. Вашу руку!..

А я-то стою позади и вижу аккурат его затылок. Он у них очень широкий, и на косой пробор, и выглажен. Стою и думаю... А-ах, сколько же вас, таких прохвостов, развелось! Учили вас наукам разным, а простой науке не выучили, как об людях понимать... Отцы деньги накапливали, щи да кашу лопали, с людей драли, а вы на такое употребление. И все неиспровержено! Смотрю ему в затылок и вижу настоящую ему цену!

Потом директор Штресс потолковали с Капулады и барышнями и говорит:

– Ничего не имеют против, а напротив...

– Вот видите, какой у меня всегда хороший план! Теперь, прошу вас, обдумаем, чтобы было как следует и чтобы очень искусственно и сервировка тонкая...

А тот ему, уж в хорошем настроении:

– Я бы предложил в гранатовом салоне. Ваша мысль очень хорошая...

И пошли на совет... Еще бы не хорошая! На сорок персон ужин со всеми приложениями!

Ну, и вышло так, что, я полагаю, долго в конторе счет выписывали и баланс выводили. Велели такого вина пять бутылок, которое у нас очень редко и прямо в натуральном виде подают, в корзине, и бутылки как бы плесенью тронуты. Несут на серебряном блюде двое номеров и осторожно, потому что одна такая бутылка стоит больше ста рублей и очень старинного происхождения. А такое у нас есть, и куплено, сказывали, у одного поляка, у которого погреба остались от дедов невыпитыми и который пролетел в трубу. Более ста лет вину! И крепкое и душистое до чрезвычайности.

Сто двадцать пять рублей бутылка! За такие деньги я два месяца мог бы просуществовать с семейством! Духов два флакона дорогих, по семи рублей, сожгли на жаровенке для хорошего воздуха. Атмосфера тонкая, даже голова слабнет и ко сну клонит. Чеканное серебро вытащили из почетного шкафа, и хрусталь необыкновенный, и сербский фарфор. Одни тарелочки для десерта по двенадцати рублей! Из атласных ящичков вынимали, что бывает не часто. Вот какой

ужин для оркестра! Это надо видеть! И такой стол вышел – так это ослепление. Даже когда Кавальери была – не было!

Зернистая икра стояла в пяти серебряных ведерках-вазонах по четыре фунта. Мозгов горячих из костей для тартинок – самое нежное блюдо для дам! У нас одна такая тартинка рубль шесть гривен! Французский белянжевин – груша по пять целковых штука... Такое море всего, такие деликатесы в обстановке! И потом был секрет: в каждом куверте по записке от господина Карасева лежало на магазин Филе⁴ – получить конфект по коробке.

Отыграл оркестр до положенного часу, убрали барышни свои скрипочки и собрались. А уж господин Карасев так это у закуского стола хлопочут, как хозяин, и комплименты говорят:

– Мне очень приятно, и я очень расположен... Пожалуйте начерно, чем бог послал...

Все так стеснительно, а Штросс как корабль плавает с сигарой и очень милостиво так себя держит, с барышнями шутят. И вдруг господин Карасев пальцами так по воздуху и головой по сторонам:

– Кажется, еще не все в сборе...

А Капулади уж большую рюмку водки осадил и икрой закусывает с крокеточкой, полон рот набил и жует, выпуча глаза.

– А-а-а... Мамзель Гуттелет нэт... голова у ней... и мамаша прикодиль...

– А-а-а... Пожалуйста... кушайте...

Только и сказал господин Карасев. И так стало тихо, и барышни так это переглянулись. И такая у него физиономия стала... И смех и грех! Сервировали ужин! А Капулади чокается и вкладывает. И Штросс чокается, и господин Карасев тоже... чокается и благодарит. И лицо у них... физиономия-то у них, то есть... необыкновенная! А там-то, в конторе-то... счетик-то... баланц-то уж нанизывает Агафон Митрич, нанизывает безо всякого снисхождения. Да с примастью, да по тарифу-то, самому уважаемому тарифу... Да за хрусталь, да за сервизы, да за духи, да за...

Вышел я в коридор, смотрю – офицер-то и идут.

– Что это, свадьба здесь? – спрашивает про пир-то в гранатовом салоне.

– Никак нет, – говорю. – Это господин Карасев всю музыку, весь оркестр, ужином потчуют.

Сморщил лоб и пошел.

И хотел я ему сказать, какой у них приятный ужин получился, но, конечно, это неудобно. Наше дело ответить, когда спрашивают. А очень была охота сказать.

IV

Пришел я из ресторана в четвертом часу. Луша дверь отперла. Всегда отпирала она мне, сон перебивала. И вот спрашиваю ее про Кривого. Оказывается, не приходил. И гадала она на него весь вечер, и все фальшивые хлопоты и пиковки. Пустое, конечно, занятие, но иногда выходит очень верно. И все казенный дом выходил – значит, как бы в участке заварил клязу. Фальшивые-то хлопоты...

– Чует, – говорит, – мое сердце... Вон у Гайкина-то сына заарестовали. Уж не он ли это?... Еще Гайкин-то тебя все про Кривого пытал, будто он у него денег просил на резиновую торговлю...

И растревожила она меня этими словами так, что не могу уснуть. А это верно, у Гайкина, лавочника, сына действительно заарестовали. Совершили обыск и нашли книги недозволенные. А он был студент, и мой Колюшка у него раньше книгами пользовался, но потом я сам

⁴ Имеется в виду известная в дореволюционной России кондитерская фирмы К. Д.Топорова «Флей», имевшая в Москве магазины в Неглинном проезде и на Арбате.

забрал две книги и самому Гайкину отнес. А Кривой всегда у них в лавке пребывал, будто за папиросами, и все приставал к старику резиновый магазин в компании открыть.

Так это мне вдруг – а ведь Кривой это! Утром сам проговорился спьяну... А про сыщиков я знал, что они рассеяны везде, но только их трудно усмотреть. А Кирилл Саверьяныч даже одобрял для порядка и тишины. Но я-то знаю, что они могут быть очень вредны. Агафья Марковна, сваха, рассказывала, потому что сватала одного сыщика, и он ей открыл, как они избавляют от разорения. И когда меня обокрали и унесли часы, сыщик все разыскал, и я дал ему за хлопоты красную, но если насчет людей, то может быть очень вреден. Сказал я Луше, что нет ли у Колюшки каких книг, но она меня успокоила. Пытала она Колюшку весь вечер, и он ей побожился, что ничего нет.

– Он, – говорит, – охапку какую-то снес вечером к Васикову... И скажи ты, – говорит, – этому Васикову, чтоб он к нам лучше не ходил. Он все Колюшку сбивает...

Так мы и решили. И я даже хотел просить Кирилла Саверьяныча, чтоб он принес ему хороших книг, настоящих. Про историю у него были, от которых он умный стал. И вдруг звонок ударил.

Соскочил я босой, отпер. Оказывается, Кривой, и в очень растерзанном виде. Нового пиджака на нем уж нет, а какая-то кофта, и лицо прямо убийственное. Так это у меня сперва поднялось против него, не хотел допускать. Но не могу слова найти, как ему сказать, а дорогу ему загородил. И он молчит. А потом вдруг тихо так и твердо:

– Вот и я! Ну, что же? Могу я войти в свою квартиру?

Гордо так, а голос не свой. Однако не входит, а как бы и просится. И хоть и в кофте, но все равно как во фраке, и по тону слышно, что может затеять скандал. И боится как будто. Дрожание у него в голосе. Ну, думаю, завтра я тебя, друга милого, обязательно выставлю, только ночь переночуешь. И говорю ему строго, что спать пора и зачем так оглушительно звониться. А он вдруг как проскочит у меня под рукой и говорит:

– Чи-то-сс? – прямо к лицу и винным перегаром. И как шипенье голос у него стал. – Звонки для звона существуют! Заведите английские замки!

И скрылся в свою комнату. Плюнул я на эти дерзкие слова. А Луша мне покою не дает:

– Болит у меня сердце... Поговори ты с ним по-доброму. Он спьяну-то тебе скажет, жаловался он на нас или нет. А то я ни за что не усну... Томление во мне...

Но я терпеть не могу пьяных и сказал, что не пойду на скандал. И уж стал я засыпать, Луша меня в бок:

– Послушай-ка, Яков Софроныч... Что это он там... урчит что-то... Даже за душу берет, а ты как бесчувственный. Выпроводи ты его, что ли...

Стали мы слушать. Поглядел я в переборку, где обои треснули, – свету нет, но слышно, как у него постель скрипит и какие-то неприятные звуки. Так и рыкает. За сердце взяло, как неприятно. Как из нутра у него выскакивает. Постучал я – без последствий. А Луша требует: угомони да угомони.

– Может, он при расстройстве что скажет... Поди!

Зажег я свечку и прошел к нему. Вижу – лежит Кривой на кровати одевшись, ткнулся головой в ситцевую подушку и рыкает.

– Прохор Андрияныч... – спрашиваю. – Что это у вас за комедия опять? Мы тоже спать хотим... Так непозволительно себя ведете и еще по ночам спать не даете...

Вывернул он голову и одним глазом на меня уставился, как не понимает. А лицо у него в слезах и страшный взгляд.

– Ничего, ничего... У меня тут... – И показал на грудь.

Первый раз услышал я настоящий его голос. И очень жалко посмотрел, будто его гнать хотят. Знал я, что у него жена с околоточным сбежала и сынок у него на пятом году помер. Это он Черепяхину открыл. И сказал я ему тогда по душам:

– Вы лучше объяснитесь начистоту. За пиджак я вам заплачу хоть три рубля... Зла мы вам не хотели, а вы на нас так ополчились... Будете вы нам зло делать, вы скажите? Вы сами объявили, что сообщите, и перевернули наш семейный разговор... и мы вас опасались, это правда... Скажите все, и мы разойдемся по-мирному... Что же делать, раз ваша такая специальность... Но не губите людей!

А он привстал и головой так:

– Так, так... Вы очень добрый человек... Продолжайте...

– Вы, – говорю, – не думайте, что мы бесчувственные какие... Только скажите от сердца и не доводите до неприятности... А вот даже как: я вам даже пирожка принесу закусить, чтобы вы не думали...

Сказал, чтобы его в чувство ввести и открыть его планы!. А он подался ко мне, уставил глаз и шипит:

– Чи-то-сс? Пир-рожка-а? Это вы что же, на смех? На тебе пирожка! Ты вот, сукин сын, такой мерзавец, Кривой... Вы меня все Кривым!., а мы тебе пирожка?.. А? Вам за пирожок надо покою ночного? Купить меня пирожком? А утром вы мне пирожка предложили? Вы два пирога пекли и не предложили!.. Из-за вас меня Гайкин из лавки попросил!.. Я вам прощаю!

И так рукой торжественно и сел на кровать. Слышу вдруг – топ-топ. Колюшка из-за двери голову выставил и меня за плечо:

– Что это вы его, с квартиры гоните?

– Ничего я не гоню! – говорю. – А вот опять... не в себе...

А тот действительно голову в руки и трясется. Смотрю, Колюшка сморщился и подходит к Кривому, и голос у него дрожит:

– Оставьте, пожалуйста... Что за пустяки и как вам не стыдно!..

Тогда Кривой поднялся, запахнул свою кофту и так трагически:

– Можете гнать! Меня сегодня из участка выгнали, теперь вы!.. Конец!

– Как, – говорю, – выгнали? за что?

Ничего не пойму. А он срыву так:

– Гоните в шею! Сейчас прямо на улицу, в темноту! Вы только погоните – и я в момент! Не беспокойтесь...

И не вовсе пьян, а так странно. Схватил подушку, гитару со стены сорвал, под кровать полез, шарит там, юлит, подштанники вытащил и в простынку увязывает, книжку из-под матраса трепаную достал, графа Монте-Криста. И увязал в узелок.

– Думаете, места не найду? Я и без места могу... Все равно...

Шебаршит и шарит вокруг себя. Опять из узла все выкидывать стал.

– Можете себе присвоить! Не надо мне ничего... За квартиру получите из имения... Я рассчитываюсь... До свиданья!

Пошел было, но я его за руку – стой!

– С ума, – говорю, – не сходите и скандалу не делайте... Куда вы пойдете, раз ночь на дворе?..

Посмотрел он на окно и назад повернул, на кровать сел. Тощий он был и взерошенный, и глаза какие-то такие. Видать было, что положение его очень отчаянное, а только храбрится в нетрезвом виде. Знал я, что у Луши он тридцать копеек занимал и вечером обещал принести и не принес. Очень упрямый и сам стирал свои рваные подштанники в комнатке, чтобы люди не видали. И насилу признался, что в участке служит, а все хвастал, что приказчиком в резиновом магазине. А это он раньше в резиновом-то был, а потом, после расстройств, запил и в писаря пошел.

И спать-то мне хочется, а он сидит и томит. Вот я и говорю:

– Не принимайте к сердцу... Прогнали – другое место найдете... Мало ли местов!..

А он мне гордо так:

– Во-первых, меня не прогоняли! Я сам приставу в морду плюнул! У меня тетка в имении, у ней сто тысяч в банке!.. Чи-то-ссс?! Извините-с... Я не какой-нибудь обормот!

– Ну и хорошо, и не напускайте на себя...

– Ну, это не ваше дело! Выговоры мне! А может, я наврал? Чи-то-ссс?! И не знаете, гнать меня или нет. Вот молодой человек мне пиджак изгадил, а я, может, все его пиджаки и брюки уничтожил одним почерком пера?! Чито-ссс?!

Вижу, что спятил – и ломается. А Колюшка стоит бледный, и губы у него трясутся.

– Ничего-с... я шучу – и все наврал. Никогда я сыщиком не был! Не был я сы-щи-ком! Чи-то-ссс? Запомните это! Хорошенько запомните!! А-а... стереглись! Гайкину напели! Он бы мне дело в компании открыл – шинами торговать... Лезет человек в мурью, а вы его так вот, так... кулаком в морду?! Нате вот, плюньте мне в морду, нате!.. Молодой человек! Плюньте!.. Вы про политику можете говорить... понимаете все... плюньте!.. Вашего парикмахера склизкого позовите... плю-уй-те!..

Реветь начал и все тянет: у-у-у... Колюшка его трясти стал за плечо.

– Что вы говорите? Неправда!.. Мы не такие!..

А тут Луша из-за двери выглядывает. Увидел он ее и поднялся.

– А вы, Лукерья Семеновна, не тревожьтесь... Я вам тридцать копеек завтра... вот с гитары... я еще не все пропил... успокойтесь...

И вдруг Черепахин и входит в одном белье.

– Простите за костюм... Да ты угомонишься? Как вошь в пироге! Наталью Яковлевну и всех будишь! Черт ты после этого!

Но я его остановил и говорю, что человек до умопомешательства дошел. А он очень горячий и всегда за нас.

– Знаю, какое у него помешательство! Ему бы теперь ассаже на двугривенный! Так ты прямо скажи, и так дам, а то важничаешь...

А Кривой посмотрел так укоризненно и загорелся:

– Все супротив меня! Ну, так знайте! Я всем присчитал: и приставу, подлецу, и дорогой супруге, и всем!.. И всем вам язык покажу! Будьте покойны! Итоги подведены. Простите меня, молодой человек! А тридцать копеек и за квартиру за двенадцать дней получите... Вот с гитары...

И подает Луше гитару. А она замахала руками и не берет.

– Я предложил... как знаете... Ну-с, прощайте, до радостного утра!

Сделал шаг вперед и стал руку протягивать, а сам глазом нас сверлит. А Черепахин ему:

– Пошел ты! Ломается, как обезьяна... Это в тебе даже и не искренне, а так, одна трагедия глупая...

– Ну, как угодно... Как угодно...

И вдруг свечу у меня и потушил.

– Занавес, – говорит, – опущен!

Такой странный оказался человек. Напустил-напустил на себя... Легли мы, а на душе муть.

Слышу, чиркнул спичкой за переборкой. Пригляделся я глазом в щель – Кривой лампочку на стенке зажег. Потом стал узелок свой вытряхивать и все головой качает. Потом поднялся, послушал и гитару на стенку повесил, а подштанники и графа Монте-Криста под кровать сунул. Остановился середь комнаты и осматривается. На углы посмотрел, на иконку в уголочке. Глаза ладонями закрыл и затряс головой. Потом за волосы себя дергать стал, да накрепко. Потом подошел к оконцу на помойку и смотрит. Прижался носом к стеклу и смотрит. И в тишине слышно, как над головой, где у нас машинист с железной дороги жил, граммофон камаринского играет. А там именины были. А Кривой все в окно глядит, в темень... Так я и заснул.

А наутро, только на службу идти, уж Колюшка в училище ушел, – неприятность. Управляющий домов барышень Пупа-евых, Емельян Иваныч Ландышев. Так и так, с первого числа надбавка вам в пять рублей!

– Почему такой, надбавка? Прошлый год набавляли...

– По плану. Обязательно велено... Я ни при чем, с меня спрашивают. У барышень расходы большие, и им не хватает. Даже обижаются на меня...

– Это ваш произвол, – говорю. – Я знаю очень хорошо барышень, они образованные и стараются для попечительства. У них вывеска даже...

А он мне и говорит:

– Это ничего не составляет, а каждый хочет себе пользы. Сами они не доходят, а с меня спрашивают... Хотите – платите, не хотите – как хотите...

Вот как! Как заколдованный круг. И накалили же меня этими прибавками и надбавками! Да-а... Я это теперь очень хорошо понимаю. Сами не доходят... Музыкальные вечера у них и ужины... И в попечительствах пекутся... барышни Пупаевы, дай им бог здоровья... Они все науки проходили в пансионах и за границу ездят, и им, конечно, не хватает. И сами лотереи устраивают и салфеточки вышивают... И как же им можно проникать в дела, когда это даже и не барышнины дела! Нежны они очень и тонки, и им, конечно, не хватает, Эх, не то говорил ты, Кирилл Саверьяныч, не то! От этого оборот! Оборот капиталов! Что тебе за прически и локоны по сто рублей с головы платят? Так и мне двугривенные платят эти барышни Пупаевы и другие... Ну, так и я им платил рублями, и они принимали, потому что это их не касается! Знаю я, какой это оборот! на собственной шкуре знаю я всех этих барышень Пупаевых и других, дай им бог здоровья! Да они и без здоровья здоровы, потому что поют и играют...

А квартир нет. Много домов настроено, а жить негде, потому что все хотят иметь доходы по плану. И так меня это расстроило...

V

Постучался я к Кривому, чтобы поговорить как следует в трезвом состоянии, но он спал и дверь запер на крючок. И Луша-то сказала, пусть проспится после куража, а то злой будет. И стали мы рассуждать – гнать его или оставить. Что с него возьмешь, как он без места! И тетка-то его с ветру. И раньше, бывало, все про тетку, а потом отрекался. Такой гордый человек! И так все обернул ночью, что словно мы его обидели. А это в нем происхождение такое капризное. Хвастал, что у него мать из дворянской крови и содержанкой жила у губернатора и, может, он даже сын губернатора, а не золотарика. Черепяхину все изливал: «Мне бы надо по малой мере чиновником быть и начальствовать, а я до такой ступени опустился. Но только я письмо в газеты накатаю и отца своего, подлеца, так изображу, что его с места прогонят, или пусть мне тыщу рублей пришлет, – велосипедными шинами торговать буду!»

Такие вокруг себя сети распространил, думает – и не узнают, а просто стыдно ему было при его положении. Вот и врал.

Пришел я в ресторан, а в официантской наши очень горячо рассуждают. А это Икоркин. Маленький такой и черненький, как блоха, но очень цепкий и может говорить. И Икоркиным-то его прозвали на смех – очень любил, как поступил, икорку с ложечек и тарелок слизывать. Оказывается, общество устраивается для всех официантов, для поддержки. Вот Икоркин и требовал, чтобы записывались, по полтиннику в рассрочку. Но только нас метрдотель разогнал и оштрафовал Икоркина на рубль за грубость. Потом мне:

– Бери букет, который барышня забыла, вези на квартиру! Карасев записку прислал, велел.

Поставили в картонку, пошел я по адресу. И не спросил, нужен ли какой ответ, дорогой уж вспомнил. Пришел, на третий этаж поднялся. Старая барыня отперла. Что такое? Букет барышне от господина Карасева из ресторана. Плечами пожалала и зовет:

– Аля, что такое? Букет тебе!..

Вышла та, тоненькая такая, в фартучке, прямо как девочка. Вырвала у барыни картонку, и ушли они. Слышу, разговор у них горячий по-французски. И та кричит и другая... А я жду, будет ли ответ какой. А ко мне девочка вышла черненькая и мальчишка. Стоят и смотрят. Мальчик еще спросил меня, кто я такой, а потом и говорит:

– Там наша Аля работает, где обедают...

А девочка мне куклу принесла показать, такая занятная. И вдруг барышня выбегла ко мне и так гордо:

– Можете идти, не будет ответа!..

Так гордо, что я и не думал от нее. И лицо такое злое сделала. Мальчишку дернула за руку, так и отскочил, и за мной дверью – хлоп! Как вылетел я все равно! Плюнул даже. Провались они все, а я еще ее пожалел.

И день этот выдался очень горячий, потому что в золотом салоне свадебный ужин на двести персон – сын губернатора женился на дочери фабриканта Барыгина, по двадцать рублей с персоны без вина! А в угловой гостиной юбилей делали директору гимназии. И метрдотель в наказание, что букет я от офицера принял, отрядил меня к юбилею. А юбилей – что! Чиновники!.. Только разговоры, и еще рассматривают – двугривенный или пятиалтынный...

Начались завтраки. И уморил тут меня пакетчик!

Вот поди ты, что значит капитал! Прямо даже непонятно. Мальчишкой служил у пакетчика, а теперь в такой моде, что удивление. Домов наставил прямо на страх всем. И ничего не боится. Ставит и ставит по семь да по восемь этажей. Так его господин Глотанов и называет – Домострой! А настоящая его фамилия – Семин, Михаила Лукич! Выстроит этажей в семь на сто квартир и сейчас заложит по знакомству с хорошей пользой. Потом опять выстроит и опять заложит. Таким манером домов шесть воздвиг. И совсем необразованный, а вострый. И насмешил же он меня!

По случаю какого торжества – неизвестно, а привез с собою в ресторан супругу. И в первый раз привез, а сам года три ездит. Как вошла да увидала все наше великолепие, даже испугалась. Сидит в огромной шляпе, выпучив глаза, как ворона. А я им служил и слышу, она говорит:

– Чтой-то как мне не ндравится на людях есть... Чисто в театре...

А он ей резко:

– Дура! Сиди важней... Тут только капиталисты, а не шваль...

Она ежится, а он ей:

– Сиди важней! Дура!

А она свое:

– Ни в жисть больше не поеду! Все смотрят...

А он ее – дурой! Умора!

– А мне так, – говорит, – наплевать на всех, что смотрят!

Даже не так сказал, а по-уличному.

– На всех, – говорит, – мне... Я привык к свету...

Нехорошо сказал. Я-то, я-то понимаю даже их необразование. И манит меня:

– Человек! Дай мне чего полегше... – Прищурился на нее и говорит: – Дай мне... соль!⁵

А она так глаза выпучила – не понимает, конечно. А он-то и доволен, что дуру нашел. А сам недавно за артишоки бранился.

⁵ Морская рыба (sole – *фр.*), в данном случае камбала.

– Я, – говорит, – думал, что мясо на французский манер, а ты мне какую-то репу рогатую подаешь!

Вона! И как принес я им камбалу, он и говорит супруге:

– Вот тебе соль, ешь – не бойся... Это рыба, в море на сто верст в глубине живет!

Умора, ей-богу. И сам-то не ест и никогда в компании не ел, а тут для удивления заказал. А она шевельнула вилкой и говорит:

– Чтой-то как она и на рыбу не похожа... А не вредная?

Да как распробовала, в пару-то, аромат от нее, и назад:

– Да она тухлая совсем... Михаила Лукич!

Не понимает, что такой от нее запах постоянный. Тухлая! Уж и смеялся он, вот как показывался!

– Эту рыбу-то только француженки употребляют... ду-у-ра!..

А она чуть не плачет, красная, как свекла, стала и в прыщах.

– Мне бы, – говорит, – лучше белуги бы...

А он-то ей:

– Не страми ты меня перед лакеями, ешь! Тут за порцию три с полтиной!..

И ни малейшего стыда! А она ест и давится. И случилось нехорошо – в салфетку даже. А он ей угрожает:

– Дура! Никогда больше не возьму. Необразованная!..

Сейчас подозвал меня и так важно:

– Дай ей... ар-ти-шоков!

Вот! Это уж на смех. Потому где ей с артишоками управиться? Вот какие люди. А сам-то, сам! Как-то привез в кабинет девочку лет пятнадцати, так... портнишечку, и напоил. Самому лет пятьдесят, а она девчоночка совсем. И ту-то, ту-то тоже кормил по-необыкновенному, потешался. Устриц давал, лангустов, миног... Нарочно с метрдотелем совещался, как бы почудней. Портнишечку!..

Все своими глазами видел и сам служил. И как иной раз мерзит и мерзит. И образованные тоже... И никто не скажет... И ничего! Хамы, хамы и холуи! Вот кто холуи и хамы! Не туда пальцами тычут!.. Грубо и неделикатно в нашей среде, но из нас не отважатся на такие поступки... И пьянство, и жен бьют – верно, но чтобы доходить до поступков, как доходят, чтобы догола раздевать да на четвереньках по коврам чтобы прыгали – это у нас не встречается. Для этого особую фантазию надо. Теперь меня не обманешь, хоть ты там что хочешь говори всякими словами, чего я очень хорошо послушал в разных собраниях, которые у нас собирались и рассуждали про разное... Банкеты были необыкновенные, со слезой говорили, а все пустое... Уж если здесь нет настоящего проникновения, так на момент только все и испаряется, как после куража. Вон теперь полным-полны рестораны, и опять бойкая жизнь, опять все идет как раньше... Эх, Колошка! Твоя правда! Теперь и сам вижу, что такое благородство жизни... И где она, правда? Один незнакомый старик растрогал меня и вложил в меня сияние правды... который торговал теплым товаром... А эти... кушают, и пьют, и разговаривают под музыку... Других не видал.

И смеялась девчоночка-то, портнишечка-то, смеялась... как коньяком ее повеселили... И потом, потом туда... У нас такой проход есть... плюшем закрытый проход... Чистый, ковровый и неслышный проход есть. И потом в этот проход прошли...

В номера проход этот ведет, в особые секретные номера с разрешения начальства. И само начальство ходит этим проходом. Тысячи ходят этим проходом, образованные и старцы с сединами и портфелями, и разных водят и с того, и с этого хода. На свиданье... И был там у нас – и сейчас есть – Карп, аховый насчет делов этих. Как порасскажет, что за этими проходами творится! Жены из благородных семейств являются под секретом для подработки средств и свои карточки фотографические под высокую цену в альбом отдают. И альбомы эти с большим

секретом в руки даются только людям особенным и капитальным. Там стены плюшем обиты, и мягко вокруг, и ковры... и голос пропадает в тишине, как под землей. И уж с другого конца выходят гости с портфелями, и лица сурьезные, как по делам... А девицы и дамы через другие проходы. И все это знают и притворяются, чтобы было честно и благородно! Теперь ничему не верю, хоть ты мне в лепешку расшибись в приятном разговоре. Тысячи в год проживают, всё прошли, всё опробовали – и еще говорят, что за правду могут стоять! Один пустой разговор.

И вот проходы... И сам Карп чуть однажды не полетел, а очень испробованный и крепкий человек. Криком одна кричала и билась, так постучал он в дверь. И такой вышел скандал за беспокойство, что чуть было наш ресторан со всеми проходами не полетел!

И вот как подавал я им артишоки, замутило- замутило меня, дрожание такое в груди. Неприятность, конечно, дома, а еще у меня сердце нехорошее, жметяся и бьется: капли ландышевые пью. И так мне подкатило, хоть тут в зале ложись, терпения нет. Пакетчик меня пальцем манит, а я идти не могу. И вдруг товарищ подходит и говорит:

– Скорей, жена тебя спрашивает что-то...

Перемогся я, подошел к столу.

– Нарзану мне дай, а ей солянки...

Побежал я в официантскую, а Луша сидит в платочке, бле-едная...

– Скорей, скорей! Кривой повесился!.. Околоточный послал...

Не понял я сперва, только испугался. А она чуть не плачет:

– Скорей, скорей! Полна квартира народу... никого нет...

Стал одеваться, пальто никак не вздену. А та-то мне:

– Скорей, скорей... запутает он нас... околоточный сказал...

Прибежал я на квартиру. Народ со двора в окна лезет, а в квартире полиция. Вошел в его комнатку, а уж он на полу лежит, как был в рваной кофте... На ремешке он задавился от брюк. На спине лежит, руки так свело и в кулаки, как грозится. А на лицо как взглянул... страшный-страшный. Языком дразнится. Один глаз сощурен, а другой выперло, смотрит. Еще ночью так все рожи корчил.

Околоточный наш, Александр Иванович, у окошечка сидит, курит, в руке записку держит, и строгий. И околоточный-то знакомый; ему по дешевке вино иной раз доставлял, после балов которое... Нам метрдотель с уступкой продавал.

– Ждать тебя мне тут? Что это у вас тут за безобразия?!

И пальцем в Кривого, и морщится. Точно я сам его удавил.

– Что знаешь, какие причины? Нет ли чаю стакана...

И всегда обходительный был, а тут даже про чай строго. А я совсем расстроился, ничего не понимаю.

– Неприятность тебе будет... – И запиской по ладошке хлопнул. – Сын где? Его я должен спросить... Чернил!

Сейчас ему чернил и чаю подали, ждем...

– Прикройте его чем... Связался с дрянью, вот и... Голову закройте!

Даже и его взяло. А Черепяхин тут как тут.

– Почему вы так выражаете про мертвое тело? Занесите в протокол!

– А ты, – говорит, – кто такой? Вон отсюда! Тут допрос. Кто он такой?

А тот очень горячий и сейчас зуб за зуб:

– Почему мне «ты» говорите? Я совместный квартирант и хочу показание дать о причинах. Я все знаю.

И начал так развязно, смешком:

– Вот как было. Утречком так, часов в десять, конечно, выхожу я из ватерклозета, смотрю...

Но околоточный ему сейчас:

– Вон! Сам вызову! Очистить комнату!

Всю публику выгнал из квартиры. Остались дворник да пачпортист наш, а Черепяхину арестом пригрозил за противодействие. Насилу я его увел.

– Ну-с, теперь по пунктам...

И читает записку, что вот с квартиры его гнали...

– Так. Вы гнали его, значит, с квартиры... Гнал?

Объяснил все и про ночь рассказал. Записал – и дальше:

– Это не важно, а вот...

Вслух прочитал все письмо. Оказывается, он на всех доносы написал и про нас и теперь боится суда. И очень обижен на всю жизнь. И про стакан помянул, и про разговоры. Прочитал околоточный и сморщился.

– Вот какая канитель! Должен дознание вести, тут про политику... Какие слова твой сын про политику говорил? Лучше чистосердечно... все равно записка в производство пойдет... Вот какая канитель!..

Отрекся я, и Луша тоже, а Черепяхин из-за двери кричит:

– Знаю, меня извольте допросить!

Так я даже удивился на него. Так был расположен – и вдруг. А околоточный обрадовался.

– Позвать его! Что про политику? Твое показание по пункту!

А тот, вижу, хитрое лицо сделал и начал:

– Не твое, а ваше! Про политику – нуль, а вот как было: утречком, конечно, выхожу я из ватерклозета, смотрю...

Прямо на смех. Уж потом сам мне говорил: чтобы обозлить. Сейчас его околоточный выгнал и пригрозил. А я на Кирилла Саверьяныча сослался: уважаемый человек и знакомый околоточному. Сейчас за ним погнали: неподалечку, через улицу жил.

Пришел очень сильно испуганный, с околоточным за руку и по отчеству и очень умно стал объяснять:

– Разве вы меня не знаете? Разве, – говорит, – я могу в моем присутствии позволить насчет чего?.. Я привержен к администрации, и мне даже обидно с вашей стороны такое недо-разумение...

А околоточный в записку:

– Что же делать, раз я по обязанности долга... Я очень хорошо знаю...

А Кирилл Саверьяныч посмотрел на Кривого и говорит:

– Даже после смерти напакостил! И все из пиджака!

А околоточный сейчас в протокол:

– Из какого пиджака? Объяснитесь.

Кирилл Саверьяныч бородку оттянул и сделал лицо очень умное и даже как обиделся.

– А вот как. Сидели мы за пирогом и рассуждали... про жизнь. И Кривой слушал у двери. И тогда молодой человек, их сын – ученик реального училища, стал укорять его, вот этого самого Кривого, зачем он так исполняет свои обязанности, то есть пьянствует, и сказал, что это так не годится... и вообще... нельзя так в политике жизни... Вот она и есть политика... политика жизни... обиход... Так сказать, если выразить по-ученому...

– Верно! – подтвердил и околоточный. – Это понятно.

– Вот. Необразованный человек не поймет, конечно, а образованный... это понятно... И я ему, этому самому Кривому, стал объяснять даже из Евангелия... насчет властей и про жизнь... А он вдруг обозвал всех нас холуями... – это вы обязательно запишите! – и тогда молодой человек, а их сын, действительно бросил на пол стакан в его направлении и попал в пиджак и забрызгал... Вот он обиделся и сказал, что донесет на всех, и побежал в участок. Это сущая правда.

Так складно у него вышло. Ну, конечно, что тому, раз он мертвый? А то бы канитель. Время очень строгое было. И околоточный подтвердил:

– Был он там, верно, и наскандалил. Мы его совсем прогнали. Но это не относится...

И зачеркал в протокол. А Кирилл Саверьяныч в окошечко смотрит. И вдруг с чего-то обиделся и опять:

– Не понимаю, при чем тут я... От работы отрывают...

А околоточный ему:

– Нам пуще эти канители надоели, но закон такой. – И мне запрос: – Какой донос он на вашего сына послал и куда? Тут в записке есть...

И показал перышком на Кривого.

– Да какой же донос, раз он пьяный был! – говорю.

– Мало ли что! Пьяные-то и проговариваются. О чем донос?

Да что я, святой дух, что ли? Такой придира!

А тут Колюшка и входит из училища. Как узнал все, так и окаменел.

А околоточный сейчас его на допрос:

– Объясните показание! Вот что он в письме пишет...

Прочитал ему. Колюшка смотрит на него и как ничего не понимает.

– Ну-с, – говорит. – Какой донос он послал и куда? А Колюшка стоит помертвелый и шепотом так:

– Мы его, мы... Господи!

И за голову схватился. А околоточный – чирк в протокол.

– Что это значит? – спрашивает. – Тут у вас путаница... Как же это вы? Что – вы?..

Кирилл Саверьяныч тут осерчал.

– Что же, вы подозреваете, что они его удавили? Он нравственно думает... от обиды... Он же сам в письме пишет!.. Может быть, и меня вы в чем подозреваете?

– Не подозреваю вас, – говорит, – а все-таки странно. Как же это вы... Вы скажите чисто-сердечно...

А мой-то взглянул на Кривого, сморщился и убежал из комнаты. А околоточный мне строго:

– Вернуть его! Я именем... требую. Позвать!

Побежал я за Колюшкой. А он уткнулся головой в окно, так в шинели и стоит. Обернулся да как зыкнет:

– Уйдите! Не могу я, не могу!

Я его и так и сяк – нет!

– Вот, – говорит, – что мы сделали! И это я, я...

Прихожу в комнату к ним, а околоточный что-то оправляется и шепотком с Кириллом Саверьянычем. И лицо у него ничего, не строгое. А Кирилл Саверьяныч сделал такую злую физиономию и вдруг на меня:

– Не понимаю вашего сына! – нна «вы» стал. – И Александр Иваныч удивляется... Как он у вас неразвит и глуп!

А околоточный ничего.

– Он, должно быть, протокола испугался... Ну, какнибудь покончим... – Дал подписать и щелкнул портфель. – Доносы меня беспокоят... Хотя вы не беспокойтесь, потому что я так и записал, что нашел труп с явными признаками удавления... самоубийства. Мм-да-а...

А Кирилл Саверьяныч меня ногой. А околоточный в окно смотрит и думает.

– Ну-с, мы его сейчас заберем... Погода-то какая! Опять грязь...

А Кирилл Саверьяныч опять меня ногой.

Велел околоточный брат Кривого и в карету помощи. Понесли его и гитару забрали и что было, какое имущество. Ну, конечно, я проводил околоточного в сени и попросил, чтобы вообще... не **было** какой канители... И он любезно мне:

– Ничего, теперь, кажется, все ясно... Кляузник такой был... Отлично его знаю.

Вернулся я в квартиру, а Кирилл Саверьяныч как накинется на меня:

– Вот как вы цените отношение! И меня запутали! Я из-за вас теперь в протокол попал? Запутали вы меня! Из-за всякого мальчишки... Он у вас на язык невожат, а я тут по чужому делу! У меня и так расходов много... Нет, мне надо быть подальше... Я теперь вижу... как к людям снисходить...

А тут Колюшка и влетел:

– Пожалуйста! Можете уходить... Вон!

– Как «вон»! Ты... смеешь? Он при тебе смеет? меня? Это он мне-то! Щенок! дрянная эдакая, шваль, молокосос! Тебя еще пороть надо, мерзавца безмозглого! Я тебе еще покажу, какие ты слова говорил!

Я совсем растерялся, а Колюшка одно и одно:

– Вон! Вон! Папаша в вас не нуждается, в вашем снисхождении!

А у того глаза заюлили, не знает, что сказать. Даже позеленел.

– Твое, – говорит, – мерзавец, счастье, что свидетелей нет, а по закону я отца не могу притянуть! И я сам, сам ухожу... сам! Ноги моей не будет! – Потом скосил на меня глаза и кипит: – Только у таких и могут быть такие... хулиганы!

Ни за что обидел и ушел. Чуть было мой его не растерзал. Схватился, но я его за руку удержал. Потом ушел к Наташе в комнату и затворился. Вот как обернулось! Такая неприятность, и даже Кирилл Саверьяныч, которого я уважал, оказался таким занозливым. А тут еще донос какой-то Кривой послал...

Пошел я к Луше – на постель прилег от сердца, – она мне:

– Мочи моей нету... засудят Колюшку... Вот какой негодяй оказался... Что он про него написал? Возьмут его, как Тайкина сына...

Дал ей капель и пошел к Колюшке. Дергаю дверь – не отпирает. С крючка сорвал. Сидит над столом и голову на руки положил.

– Чего ты бесишься? – говорю. – И человека вооружил... Ведь он со злобы на тебя донести может, про твои слова! Донос на тебя есть уж... Ведь к нам полиция может каждую минуту... Может, у тебя какие книги есть от Тайкина...

А он на меня, вместо того чтобы успокоить:

– Вы-то хороши! Он при вас на мертвого врал, а вы... Мамаша мне сказала... И оставьте меня в покое!

И по виску себя кулаком.

– Неужели это из-за меня он? Господи! Папаша!

Даже мне обидно стало, по правде сказать. Посторонние интересы, что Кривой повесился, он к сердцу принимает, а что нам будет – без внимания. И говорю ему:

– Чужой тебе приболел, а мы для тебя что? плюнуть да растереть. Вот ты как! Я же о тебе забочусь... Ответь ты мне, есть у тебя какие книги?

А он мне:

– Уйдите вы прочь! – Кулак сжал и в подушку ткнулся.

– Да пощади ты, – говорю, – хоть отца! Я из себя для вас жилы тяну, свету не видал... Что ты геройствуешь-то? Ведь из тебя оттябель выйдет! – стал ему рацей читать. – Какой из тебя полезный член выйдет? Скандал за скандалом... в квартире человек удавился, нам неприятность... С человеком меня поспорил! А он сколько раз меня поддержал... Протекцию тебе оказал, как в училище поступать... через знакомство с учителем...

А он ногой – раз! – о кровать.

– Так ты так! – говорю. – Ну, теперь я все вижу! Это твой Васиков долгоногий тебя с пути сбил! Как стал к тебе ходить с книжками, так ты как другой стал... Ну, так чтоб духу его у меня в квартире не было! Ответишь ты мне? – кричу. – Всех выгоню! И Пахомова не пущу! Его, подлеца, выгнали за грубиянство, а он к тебе ужинать ходит? Ты его, дармоеда, кормишь!

Пронял его. Встал он, посмотрел так на меня и головой качает. Потом я уж понял, что не надо бы так. Бедный парнишка был Пахомов этот и больной. Прачка его мать была, а его выгнали из училища за плохое поведение... Так он до места к Колюшке ходил, очень бедный... Вот Колюшка мне и говорит:

– И вам не стыдно? – Правду, конечно, он сказал. – Не стыдно вам?! Куска пожалели! Не ждал я от вас этого. Сами рассказывали, как нужду терпели, корочки от каши после рабочих в реке размачивали... Будьте покойны, не придет... Но только знайте... я и сам освобожу от расходов... Может быть, и для меня жалко?

И заплакал. Смотрю, стоит у стола, скатерть теребит. И курточка на нем вздрагивает, заплаточка на локте... и поясок перекосялся. Вот как сейчас его вижу. И штаны выше щиколоток поднялись, голенища видны. И так мне его вдруг жалко стало. Такое расстройство, а тут еще сами друг другу обиду делаем.

– Да, – говорит, – вы там, в вашем ресторане, с господами очерствели...

Потом вдруг и вынимает из пазухи конверт.

– Вот вам от директора письмо.

Так все во мне и оборвалось.

– Какое письмо? зачем?

– Прочитайте... – И отвернулся.

Никогда никаких писем раньше не было, а тут вдруг... Отпечатал я письмо, руки у меня – вот что... дрожат, смотрю – бумага с номером, и написано на машинке, что приглашает меня на завтрашний день к двенадцати часам сам директор... Для разговора о сыне Николае Скороходове. Спросил я его, о чем говорить приглашают, а он только плечами пожал.

– Может быть, – говорит, – из-за Мартышки... учитель у нас есть... У меня с ним столкновение вышло...

– Какое столкновение? Что такое?

– Он меня негодяем при всем классе обозвал... Я отговаривал на войну деньги собирать, а он высказал, что только негодяи могут не сочувствовать... А сам сына по знакомству от мобилизации освободил. Ну, я и сказал ему – это как называется? А он из класса ушел. Должно быть, за этим и вызывают...

– И ты, – говорю, – так сказал? Колюшка! Что ж ты наделал?!

– Да, сказал. Я ничего не боюсь, пусть хоть и выгонят... Думаете, что очень мне их диплом нужен? И так его достану.

– Как так? Значит, – говорю, – все мои труды и заботы на ветер?

– Нет. Я вам очень благодарен. Я теперь по крайней мере все понимаю. Они требуют, чтобы я извинение попросил у Мартышки, но я у него просить не стану!

Поглядел я на образ и сказал в горе:

– Вот тебе Казанская божия мать... при ней говорю, как мне тяжело! Колюшка, – говорю, – попроси извинения!..

– Нет, не могу. Может быть, меня и не выгонят еще... Только полгода всего и учиться-то осталось... И оставим, пожалуйста, этот разговор... Все обойдется...

Так это все скрутилось сразу. А тут еще Наташка из гимназии пришла и чуть не плачет:

– Мне замечание начальница сделала... чуть не оборванкой назвала... Не пойду я в гимназию! Новое платье мне нужно, у меня все заштопано, и швы побелели... И все на высоких каблуках, а у меня стоптано все...

Шварк книги под кровать – и реветь от злости. Каторга окаянная! Как сказал я ей про Кривого, так и села. И такое томление тогда на меня напало, хоть сам в петлю полезай... Вот какая полоса нашла.

Плюнул я на всех и пошел в ресторан. Хоть на людях забыться! А какое там забыться! Хуже, хуже это чужое веселье раздражает...

VI

Прямо как несчастье какое наслал на нас Кривой.

И такое меня зло разобрало: зачем я их по ученой части пустил? Год от году Колюшка занозистей становился, и Наташка с него перенимала. Рядиться стала, локоны начала взбивать, с гимназистами на каток бегать стала, в картинную галерею... И все-то не по ней, и все претензии: и квартира у нас плохая, и людей настоящих не бывает, и подруг ей совестно в гости позвать. Требовать стала, чтобы Луша обязательно в шляпке ходила. Поправлять в разговоре стала даже:

«До сих пор, говорит, “куфня” говорите и “ндравится”...» Учительница какая нашлась, а сама себе дыр не зачинит. Совестно приглашать!

– Чего тебе, глупая, – спрашиваю, – совестно, а? Вот тебе комната, и приглашай... Я тебе запрещаю?

– Вы ничего не понимаете! Какая у нас обстановка? Диван драный да половики со шваброй?

Пожалуйте! Это дрянь-то! Семнадцать лет всего – и разговаривать! А я знал, знал, чего ей совестно! Матери-то она все высказала. Что я служу в ресторане! Наврала подругам, что я в фирме служу. В фирме! Дура-то! Боялась, что подруги узнают. А у них там больше дочери купцов, вот ей и совестно. И ведь наврала, в бумаге наврала! Велели им на листках написать про домашних, кто чем занимается, а она и написала про фирму. Стыдно, что отец официант в ресторане! Вот какое зрение у них! Швыряй отец деньгами, да с любовницами, да по проходам, – им не будет стыдно! Что же, это ее в училище так обучили?

И насмотрелся я на это опровержение! Сколько раз, бывало, начнет какой что-нибудь такое высказывать супруге или там которая с ним из барынь, вроде замечания... Да вот как-то доктор Самогрузов и скажи супруге:

– Чешешься ты, как кухарка... волосы у тебя в разные стороны...

Так она вся в жар:

– Как тебе не стыдно при лакеях мне!..

Стыдно при лакеях! А не стыдно и похуже чего, и не только при лакеях, а прямо на всеобщем виде? Не стыдно, что ногами трутся, как кобели? Ей-богу! Как в компании парочками рассядутся, чтобы попеременно, для интереса в разговоре, так после ликеров-то, под столом-то... ногами-то... Из рюмочек тянут, а глаза запускают с вывертом. Знаю я им цену настоящую, знаю-с, как они там ни разговаривай по-французски и о разных предметах. Одна так-то все про то, как в подвалах обитают, и жалилась, что надо прекратить, а сама-то рябчика-то в белом вине так и лущит, так это ножичком-то по рябчику, как на скрипочке играет. Соловьями поют в теплом месте и перед зеркалами, и очень им обидно, что подвалы там и всякие заразы... Уж лучше бы ругались. По крайности сразу видать, что ты из себя представляешь. А нет... знают тоже, как подать, чтобы с пылью.

А то вот как голод был... Мы, конечно, всегда сыты при нашем деле, а вот как приехал к поваренку отец и начал он на кухне плакаться, как тут у вас всего очень много, а у них там хлеб из осиновой коры пекут, так у нас разговор пошел, и Икоркин всех донял. Так сказал, даже Игнатий Елисеич хвалил:

– Тебе бы, – говорит, – Икоркин, попом быть!

По копейке с номера стали отчислять в день, рубль двадцать копеек.

И Икоркин каждый месяц отправлял в комитет заказным и нам квитанцию представлял. – Смотрите, послал, а не себе в карман, как другие делают.

И в газетах было. Ну, и в залах у нас кружки стояли и тоже сборы делались. Поужинают в компании, к ликерам приступят, господи благослови, вот один какой и начнет соблезновать: вот мы, дескать, тут прохлаждаемся и все, а там дети с голоду умирают. И сейчас какой-нибудь барыньке шляпу в ручку, и она начинает:

– Жертвуйте, господа! Иван Петрович, Петр Иванович! Ну, от своей бедности! Ну-у же...

И ей это большое удовольствие, и кривляется, и так, и тянет, и глазами... Ну, и соберут рублей десять, а по счету ресторану рублей сто уплатят.

А то артистка одна к нам со своей компанией ездила, так та себя на распродажу пускала. И очень много смеху у них бывало. Ручку голую поцеловать до локотка – три рубля, к плечу там – пять, а к шейке – красенькая... И так всю исцелуют, что... Один красное пятно ей насосал, штраф наложили по суду сообща. И вышел раз скандал. Сидел с ними в кабинете один, очень мрачный из себя, фабрика у него была канительная. Иван Иванович Густов, вот который застрелился от скуки жизни. Так он так-то вот встал и говорит:

– Дам вам на голодающих вот это! – и вытащил бумажник. – Тут у меня десять тысяч, сейчас из банка взял. Я вам расценок устрою всем. Всем вам в хари плюну – и на голодающих?!

Матушки, что вышло! И бумажником об стол хватил. Ему тут двое карточки суют, с артисткой обморок, на диван ее потащили, с кулаками лезут, а он их отстранил одним взмахом, положил бумажник в карман, да и говорит:

– Плевка жалко!

И пошел. А потом в газетах было, что десять тысяч на голодающих от неизвестного посетителя ресторана нашего. Вот это я понимаю!

И вот пошел я в ресторан, а сердце совсем расстроилось, и никак в себя прийти не могу. А при нашем деле верткость нужна и тревоги чтобы – ни-ни. Потому как тревога – так все равно как из кармана. А нельзя не идти – две экстренности: свадьба и юбилей. И с маху, не успел и за дело взяться как следует, а тут три дюжины тарелок в угловую гостиную понес, да замлело что-то во мне – и враспяжку. По десять целковых дюжина! Второй раз только за всю службу. Первый раз хрустально наколотил на двадцать четыре целковых, баккара, по склизнулся на апельсинную корочку и сварил. Да вот в этот раз. Сейчас метрдотель. Сварил? Сварил. Заплотишь. У нас это просто – из залога берут.

И так мне после этого сделалось, что лег бы куда, забился бы куда в дырку, чтобы не видно было, лежал бы и плакал. Обида одолела. А тут туда-сюда, счета, марки из отделения в отделение сортируешь, то по буфету, то по кухне, то по сервировке, то в счете не так что-то... Все помни, что кто заказал. Первое наше дело – ноги и память. Весь как на струне. А как что неладно вышло, так весь день и пойдет одоление.

Закончились обеды, сервировали в угловой, и уж съезд. Пошли и пошли. А народ все капризный и раздражительный, учителя эти. Редко у нас бывают, та-ак, раз в год по обещанию, зато уж тут с напряжением: дескать, мы тоже все понимаем. Приступили к закуске, то-се... И пошли гонять. Распорядитель юбилея у них был – метрдотеля за пояс заткнет, и голос зычный. Того нет, другого нет, метрдотеля сюда, да почему икры только в трех вазах, да почему больше форшмаки да тефтели, да рыбного чтобы больше, да балыка, да лососины, да омаров... Знают, что в цене! Это по шесть-то рублей с персоны, конечно, без вина! Думал, что ему еще глазков маринованных поднесут за шесть-то рублей!

Совсем я закружился. И вот как рок какой! Ну, точно вот нарочно! Несу пирожки, смотрю – он! Его превосходительство, Колюшкин директор. И такой на меня страх напал, что чуть блюдо не выскочило. В глаза ему попасть боюсь. И как нарочно – куда ни станешь, ото-

всюду его видать. Такой он широкий, выпуклый, как ящик какой. Взглянешь – и он точно глядит. И вот будто у него что против меня в мыслях есть.

И как стал пирожками с икрой обносить, чуть блюдо держу. И как приказали им на тарелочку положить, я им волованчиков огратен⁶, и крокет очков, и зернистой икры вдоволь наложил – они очень эту закуску обожали – и стал опять следить за ними. И когда они последнюю крокеточку в рот сунули, подняли голову и на меня уставились очень ласково. Очень я испугался. Вот, думаю, сейчас спросит. А они пожевали-пожевали, проглотили и пальцем мне. Вмиг предстал и жду. А они так ласково посмотрели мне в лоб и говорят:

– Дай-ка мне еще икорки... и вот этих еще...

Я им еще крокеточков и икры, как на порцию.

Но только они меня как бы и не признали. Очень возможно, что и забыли, потому что я года три тому, как к ним в последний раз являлся и прошение о плате подавал. Так весь вечер их вид для меня как казнь была. И как начали рыбу подавать, потребовали, чтобы я им мозельвейну дал.

А праздновали не то чтобы юбилей, а награждение. Директора гимназии, старичка, повысили в попечители. Вот все и собрались на обед, чтобы праздновать. И сейчас после рыбы речи наступили. А как речи, тут уж движение прекращается. Стой и слушай. И очень хорошо говорили, что надо растить поколение для пользы народа и чтобы больше свету. И тосты говорили, и пили за все. И решили телеграмму послать. Это у нас всегда. Поговорят-поговорят – и сейчас кому-нибудь телеграмму.

А у меня так сердце и мозжит, и так захлаждает, что сколько раз выбегал я на кухню. Выбежишь в сени, снежку приложишь под манишку к сердцу – и отпустит. А небо все-то звездами усеяно... И так там хорошо, и далеко, и тихо, а у нас – ад. А тут, на кухне, скандал еще. Повар Семен опять бунтовать пришел. Его за пьянство прогнали, так он на моих глазах с ножом кинулся на старшего и рассек ему котлетным ножом руку, и сам зарезаться хотел...

Пришел опять наверх, а тут огни и блеск и оркестр играет... Даже удивительно, как в волшебном царстве. Стали с юбилея расходиться, и не мог я томления одолеть, как стал директор Колюшкин собираться. Стал у двери и жду. И решение во мне такое, чтобы, как пройдет мимо, напомнить им про себя и про Колюшку попросить. Идет он к двери, ласково так посмотрел на меня и говорит:

– Человек, там я на окошке грушу оставил и еще что-то...

Побежал я к окну – заметил уж я, что они там грушу положили и мандаринов, – прибавил еще пару слив белых и поднес. Он их сейчас в задний карман мундира запихнул и дал мне полтинник. А я и говорю ему вслед:

– Ваше превосходительство... дозволейте попросить...

А он обернулся и так сердито:

– Я вам, кажется, дал?!

И пошел. А тут меня распорядитель кликнули. Он, значит, думал, что я еще на чай захотел... не понял...

Убраться бы и идти домой, ноги не ходят, и состояние такое ужасное, а разве с юбилея-то их скоро прогонишь? Заплатили денюжки, так надо их оправдать. Вина допивали под руководством ихнего распорядителя. И загонял он меня с бутылками! Все бутылки по счету проверил, высчитал на бумажке, что осталось, и распорядился по-хозяйски. Очень насчет этого дела оказался способный человек, хоть и учитель.

– Початые, – говорит, – мы жертвуем для прислуги, за эти вот со счета долой, пусть ресторан примет, а вот этот пяточек, – хорошие отобрал! – ты в кулечек упакуй и завтра в свободную минуту вот по карточке снесешь на квартиру.

⁶ Волованы (vol-au-vent gratin – фр.) – слоеные пирожки, обжаренные в сухарях.

Порылся в кошельке и тридцать копеек дал. И допивали они початое очень долго, но только был уже свободный разговор, и очень горячо рассуждали про этого, которого поздравляли. И разобрали его по всем статьям и начистоту. Под конец у нас всегда так, начистоту... И так много было работы в ту ночь, часа два в порядок приводили угловую гостиную. Очень все задрызгали и окурков натыкали по всем местам, даже в портьеры. Так что Игнатий Елисеич нам выговор задал, что не смотрели. Поди-ка поговори! И какие жадные! Так это прямо удивительно. Все, что рассчитал метрдотель с распорядителем ихним, все как есть очистили. И ведь не то чтобы съесть, айв карман. Конечно, по части фруктов. И каждый так улыбнется и скажет: – Ребятам, что ли, взять... на память...

И уж как один сделал, так и пошли – на память. И у одного даже мундир просочился – на грушу сел. Конечно, надо же свои шесть целковых отъесть. И ведь тоже знают – как и что. Закуску обработали умеючи. Икры там, омаров и балыка – и звания не осталось. Вмиг сервировали. И разговаривают, а уж руку натрафят без промаха. И у нас, конечно, тоже свой план. Закуску подставлять с переменами, чтобы сперва погорячей чего и потяжелей, а уж там на прикрас пустить из легкого. Так они тоже это очень хорошо понимают... Со-сисички на сковородках, тефтельки там и форшмаки не осадили сгоряча... Пять раз лососины прирезали и балыка. И, конечно, ресторан наш немного заработал. А к концу еще неприятность.

Прислали горничную с квартиры от одного, что на юбилее был. Барин портсигар серебряный оставили на столике. Искать – нет. Всех номеров опросили – никто не видал. А у нас бывает, что и бумажники оставляют, и мы их в контору сдаем. А такую-то дрянь, ему и цена-то пятнадцать целковых! – кто позарится. Так и не нашли. Может быть, и из гостей кто по забывчивости в карман сунул на манер чужих спичек. На этот счет у нас бывало.

Одна барыня подняла так-то вот брошку в зале, повертела, поглядела так по сторонам и... в платочек. И я это видел. И она это видела, и вся как маков цвет, а не отдала. А как я скажу метрдотелю? И барыня-то незнакомая... Может, и ее это брошка. А утром к нам от фабриканта присылают – не у вас ли брошку жена потеряла в пятьсот рублей? Вот и портсигар... Но только нам репутация дороже денег.

VII

Сказался я метрдотелю, что завтра приду к двум часам. Пришел домой в четыре, а у нас еще свет. А это все мои в одну комнатку сбились и спят при огне. Страшно им, что Кривой повесился. Наташка на диванчике прикорнула. Колюшка так на столе голову положил. Как сиротинки какие. Только Луша не ложилась, потому что жутко ей в спаленку нашу идти – рядом с той комнатой, где Кривой обитал.

Поднял Колюшка голову и смотрит тяжело так. И сразу похудел, одни глаза.

– Чего ж ты не ложишься? – спрашиваю.

Молчит. А Луша мне:

– Измаял он меня. Хоть ты-то его успокой. Все твердит – из-за нас да из-за нас... И так-то тот все мерещится, а он еще тут... Спасибо еще Черепахин Наташку все развлекал, конфеты ей принес с бала...

Посмотрел я – дверь в комнатку Кривого закрыта и даже стул приставлен. Так вот и мерещится, как он там лежит на полу и кулаками грозится. Стал я Колюшку успокаивать. Рассказал, что директора видел и он очень веселый был и ласковый, а он мне вдруг сердито так:

– Будете завтра говорить с ним, так держите себя как следует... А то привыкли кланяться!..

Очень он меня этими словами уколол.

– А вот ты, – говорю, – привык с отцом зуб за зуб! Ты вот, может, последнего человека жалеешь, какого-то Кривого, который нам напакостил через свою гордость... Он, – говорю, – и удавился-то нарочно у нас, а ты своему отцу в глаза тычешь!

А он мне с такой укоризной и даже головой стал качать:

– А вы еще про религию говорите! Религиозный человек!..

Тогда я в расстройстве был и так, конечно, про Кривого сгоряча сказал, а он меня не мог извинить.

– А ты, – говорю, – после этого скот, а не сын! Дармоед ты!.. Вот что!

Он повернулся и пошел в коридорчик, где спал. А мне бы хоть бить кого, хоть убежать бы... Рванул я Наташку с дивана, обругал... А она со сна смотрит – ничего не понимает. Пошел, водки выпил прямо из графина. Залить бы все... Я очень много тогда перестрадал и потом. Ах, как я болел Колюшкой! И не приласкал я его за всю жизнь, а обижал часто... Друг дружку обижали... Характер-то у него во-от... каменный...

Легли мы с Лушей спать, и она стала приставать, чтобы переехать с квартиры. Не останусь и не останусь здесь ни за что! Во всех углах, говорит, куда ни пойдешь, все представляется, как дразнится. И мне-то – вот стоит в дверях и смотрит, как той ночью... А у нас очень крысы полы грызли тогда, – ну прямо как царапается кто под полом. Лежим и думаем, и сон не берет. А Луша и говорит:

– Поликарп-то Сидорыч как странно стал себя вести... Сегодня весь день, как ты ушел, по комнате кружился и себя за голову щупал. А пришел с бала и Наташке колечко поднес... Говорит, на улице нашел. И совсем новенькое, с красным камушком. Просил принять по случаю семейного несчастья. Ничего это, что она взяла? Рублей пять стоит...

– Что ж тут такого? – говорю. – Он к нам очень расположен...

– Да. Если, говорит, откажетесь принять, я все равно в помойку брошу. У меня, говорит, никаких сродственников нет, а вам удовольствие... Положил ей на руку, а сам в комнату скрылся...

А это он из расположения. Очень он любил сестру свою, Катеньку. Она в портнихах жила и померла от несчастной любви, выпила нашатырного спирта. Рассказывал мне. С молодым человеком жила, а тот женился... Черепахин-то того на улице поймал и кулаком убил до смерти, но суд его оправдал, и присудили только к церковному покаянию. Очень это сильно на него подействовало, и он к нам так и прицепился, что нет у него никого на свете. И зашибал он часто, как тоска нападала. А как выпьет, так все грозился подвиг какой ни на есть совершить, чтобы себя ознаменовать. И очень его специальность мучила, насчет трубы. Только и разговору: связала и связала меня труба на всю жизнь. И Наташка-то его все дразнила:

– Что Это вы, Черепахин, такой большой, – а он очень высокий и могущественный, – и такими пустяками занимаетесь, в трубу играете?.. Если бы вы на рояли могли играть, а это даже и не музыка!..

А он весь покраснеет и руки начнет потирать.

– Все равно, и это как музыка, только, конечно, не для женского уха... А если бы у меня были деньги, я бы на рояли стал... У меня очень пальцы способны для рояли...

И как растопырит, такой смех – как вилы. А та его на трубе заставляет играть, а он стесняется.

– Ну, тогда я от вас конфет не возьму и разговаривать с вами не буду.

И начнет он марш трубить, а она рада и покатывается. Такая насмешница. А он для нее был как ягненок, очень хорошего характера для нее-то.

Стала она как-то смеяться, что такая у него фамилия – от черепахи, так он совсем расстроился и дня два из комнаты не показывался. А потом вдруг заявился и говорит:

– Вы, Наталья Яковлевна, про фамилию мою сказали... Не хотел я говорить, а теперь должен сказать. Она такая необыкновенная, потому что я от разбойников произошел...

Очень нас насмешил. Чудак был!..

– Не от черепахи я, а от разбойников. Мой дедушка был в шайке и кистенем бил со страшной силой, и как ударит по голове, так череп – ах! Вот его и прозвали. И это в суде записано, и можете даже справиться во Владимирской губернии... И песня даже есть про моего деда, и помер он на каторге... И сам я тоже очень страшной силы человек и могу пять пудов одной рукой вытянуть!..

Схватил при нас железную кочергу и петлей свернул, как бечевку. А как Луша забранилась на него, он опять напрямь вытянул.

– И если вас, Наталья Яковлевна, кто посмеет обидеть, вы мне только прикажите... Я с тем человеком поступлю как с кочергой!..

Лежим мы с Лушей и раздумываем, и слышу я, как в коридорчике словно как чвокает что. Луша мне и говорит:

– Никак Колюшка?.. Что такое с ним творится...

А я ей ни-ни, что к директору завтра потребован, чтобы пуше не расстраивать прежде времени.

Вышел я в коридорчик и слушаю: очень тяжело вздыхает. Чиркнул спичкой, а он как вскочит...

– Ай! Испугали вы меня!..

Я ему и стал говорить от сердца:

– Зачем ты и себя и нас мучаешь? Колюшка, милый ты наш сын... голубчик ты мой! Вот ты плачешь...

А он с гордостью мне:

– Ничего я не плачу! Представляется вам...

А тут спичка и погасла.

Подошел я к нему и сел рядышком. Обнял его в темноте, и так мне его жалко стало... Худой он был – ребра слышны, хоть и жилистый и широкий по кости.

И он ко мне притискался. Молча так посидели. Поласкал я его тут молча, по щеке потрепал. Так меня тогда взяло за сердце.

Только раз один за всю жизнь так его приласкал. И стал я ему на ухо говорить, чтобы Луша не услышала:

– Попроси завтра прощения у учителя!.. Ну мало ли и мне обид делали? Люди мы маленькие, с нами все могут сделать, а мы что... А ты бери пример с Иисуса Христа...

– Не могу, папочка... не могу!..

Через слезы сказал. И никогда так раньше меня не называл – папочка. И как-то даже совестно мне сделалось и хорошо, очень нежно сказал.

– Я не человек буду после... я не могу!.. Так меня унижали, так мучили... Вы не знаете ничего. Таких, как я, кухаркиными детьми зовут. Нет, нет! Не стану!..

Вскочил и меня за руки схватил.

– Знайте, что я на гадости не пойду... Я ваш сын, и я рад... Может, я совсем другой был бы... Папочка, вы ложитесь... вы устали... Ах, папочка!.. Так мне тяжело, так тяжело...

За плечи меня схватил, сам дрожит... И тогда я перекрестил его в темноте.

– Попроси прощения... Мать убьешь, Колюша... У ней сердце больное...

– Не мучайте... не могу!..

А Луша из комнаты звать стала:

– Что такое? Что вы шепчетесь? Да поди ты, Яков Софроныч... жуть...

Так и расстались. И не лег я спать. Такое нашло на меня, что я долго молился в ту ночь, все молитвы перечел, какие знал. И за Колюшку, и за упокой души Кривого. А с Лушей припадок случился от удушья, кричала все, чтобы фортки открыть... Всю ночь фортки от ветру бились, точно кто в окошки стучал.

VIII

Так я помню этот день явственно. Разбудила меня Луша:

– Зима на дворе... Смотри, какой снег валит...

Светло так стало в квартире, а за окнами стена белая, сыплет густо-нагусто. Стал я в сюртук облекаться, а Луша и спрашивает – зачем. Сказал, что по делу ресторана в одно место.

А сюртук очень ко мне идет, и стал я очень представительный. Пошел. По дороге в часовню Спасителя зашел, свечку поставил. Прихожу в училище. Швейцар при училище был очень из себя солидный, с медалями, и орденами, и нашивками, и такой взгляд привычный, но встретил очень услужливо. Потому у меня фигура складная и, потом, шуба хорошая, с воротником под бобра, как барин я солидный. Как обо мне доложить, спросил. Сказал я, что вот по письму. Тогда он карточку визитную попросил, а у меня нет, и подал мне бумажку – написать, кто и по какому случаю. Понес наверх, а меня в боковую комнату проводил.

Как на суд я пришел. И к людям я привык, но в таких местах робею. А тут хуже суда, все от них зависит, и нельзя никуда жаловаться. Барыня там еще сидела в шляпе, очень хорошо одета, в черном платье со шлейфом. Присел я с краю, очень в ногах слабость почувствовал, в коленках. Всегда так у меня в коленках дрожание бывает, когда тревожно: служба нам на ноги первое дело влияет.

И строго там у них все. Шкапы огромные, а за стеклами разные фигуры из алебастра, горки, и звезды, и головы. А на шкапах чучела птиц и банки. И портреты на стопах в рамах, и часы огромные, до полу, в шкапу. Так маятник – чи-чи. Тихо так, а он – чи-чи. А у меня сердце разыгралось. И барыня не в себе. Встала, к окошку подошла, пальцами похрустела и вздохнула. И вдруг мне говорит:

– Как долго... Видите, хочу вас спросить... Я своего мальчика перевожу из гимназии в третий класс... Как вы думаете, могут без экзамена принять?.. У него всё награды...

А тут я, по привычке, привстал и говорю – не могу знать. Она так оглянула и ни слова. Да, ей вот тревога, могут ли без экзамена принять, а у меня... А тут швейцар обе половинки настезь, и входит сам директор, его превосходительство. И совсем другой, чем в ресторане. В мундире, голову в плечи и вверх, и взгляд суровый. Пальцем приказал швейцару двери закрыть. И сперва к барыне. Поговорил ничего, ласково, и отпустил. Потом ко мне. Как-то сбылся и с ходу руку сует. А я запнулся тут – у меня шапка в руке была... Я ему поклонился, а он так взглянул мне в лицо, и так как-то вышло неудобно. Руку-то я его не успел взять, а уж он свою убрал за спину и смотрит мне в лоб.

– Что вам угодно? – важно так спросил и опять мне на лоб посмотрел.

Подав я ему письмо и сказал насчет сына...

Тогда он так пальцем сделал и скоро так:

– Д-да! – как вспомнил. – Д-да! Скороходов?..

Понял я, по глазам его понял, что он меня теперь признал. Сморщился он как-то неприятно, пальцами зашевелил и как из себя стал выкидывать на воздух:

– Да, да, да... Мы не знаем... Положительно не знаем, что с ним делать! Положительно невозможен! Я не могу понять! Положительно не могу!

К шкапу стал говорить, а рукой все по воздуху сечет и голосом все выше и выше. А у меня в ногах дрожанье началось и в сапогах как песок насыпан. И внутри все заглодало. А он все кричит:

– Это недопустимо! У нас училище, а не что!.. Вы своего сына знаете?

– Простите, – говорю, – ваше превосходительство! Он всегда уроки учит...

А он и сказать не дал:

– Не про уроки я говорю! Он разнузданный! Он дерзость сказал!

– Простите, – говорю, – ваше превосходительство! Он не в себе был... У нас расстройство вышло... семейное дело...

Хотел объяснить им про Кривого, но он и слова не допустил.

– Это не касается!.. Он дерзость сказал учителю!

– По глупости, ваше превосходительство... Я, – говорю, – его строго накажу. Дозвольте мне объяснить...

Но он так разошелся, так закипел, что никакого внимания.

– Дайте сказать! – кричит. – И это не все! Тут гадости!..

И вынимает из кармана два письма.

– Вы знаете... это кто писал мне... донос? Кто это? что это?

И в руки сует. Так мне сразу Кривой и метнулся в голову.

– Что это? Вы об этом знали? Что это, я вас спрашиваю?

Верчу я письма и совсем растерялся. Вижу – такой крючковатый почерк, с хвостиками, как раз Кривого писание. Так и мне записку писал про извинение, крючками и усиками.

– Это, – говорю, – у нас жилец жил, писарь участковый... Он на нас со злобы... Дозвольте сказать...

А он и слушать ничего не хочет, осерчал совсем.

– Прошу меня избавить!.. Примите меры!.. Я бы, – говорит, – дал знать в полицию, но не хочу марать училище...

И так горячился, так горячился.

– К нам, – говорит, – посторонние с улицы лезут и дразги несут...

Очень много в короткое время насказал и про свои заботы. И пальцем все, пальцем, как не в себе. Разгасился весь, дергается... Я слово, он десять... Сказать-то не позволяет.

– Ваше превосходительство, – говорю, вижу, что он устал от разговора. – Он заботливый и всегда уроки учит и уважает всех... А вот у нас, извините сказать, Кривой, жилец был, который вчера удавился, так он это со зла написал...

А он уж отдохнул и слушать не хочет. И опять стал рукой трясти.

– Довольно, довольно! Не желаю слушать дразги! Это не касается... Я вам прямо говорю! Если ваш сын в классе не попросит прощения у учителя, мы его уволим из училища!..

– Ваше превосходительство! Помилуйте! Он все сделает и прощения попросит у всех учителей... Я ему прикажу и устыжу при всех... Я, – говорю, – целый день при деле и даже часть ночи, в ресторане, а он без моего глаза рос...

А он мне так на это спокойно:

– Должны соблюдать правила!.. Для нас все одинаковы, кто угодно. У нас и сын нашего швейцара учится, и мы рады... Но мы никому не дозволим непокорства, хоть бы и сыну самого министра!..

И опять стал нотацию читать, и что не хочет никого губить, а не может позволить заразу, потому что у них пятьсот человек. И я стал просить потребовать сюда Колюшку, чтобы ему прочитать при них наставление.

Он сейчас пуговку нажал и приказал:

– Позвать Скороходова из седьмого класса!

И давай по комнате ходить, как в расстройстве, и волосы ерошить. Красный весь делался, воды отпил. А я притих и стою. А часы только – чи-чи... Только бы скорей кончилось все... Потом отдышался и опять:

– Груб он и дерзок! Не внушают ему дома!.. Надо обязательно внушать и следить!.. С батюшкой спорит на уроках... А в церковь он ходит?

И тут я сказал, чтобы его защитить, неправду.

– Как же, – говорю, – ваше превосходительство! Каждый праздник, я слежу.

Только плечами пожал и фыркнул. Подошел к окну и стал смотреть. Тихо стало. Только все – чи-чи... А тут как раз и входит мой.

Остановился у шкапа, руку за пояс засунул, бледный, и губы поджаты, даже на ногу отвалился и смотрит вбок. Директор оглянул его и приказал куртку опрavitить и стать как следует.

Оправился он, надо правду сказать, вразвалку, небрежительно. И так жутко мне стало. Посмотрел он на меня и точно усмехнулся.

Директор ему и говорит:

– Вот, и отец на вас жалуется!.. – А я, правду сказать, не жаловался. – Расстраиваете родителей... Он тоже удивляется вашему поведению... Стойте прямо, когда с вами говорят!..

Так резко крикнул, меня испугал. А тот плечом так дернулся, как дома, когда выговор ему задашь. То есть ничего не боится.

– Какое же мое поведение особенное? – даже дерзко так спросил. – Меня назвали...

А тот ему моментально:

– Молчать! – как крикнет.

Что поделаешь! Стиснул рот и замолчал.

– Ваше дело слушать, а не возражать! Я все знаю!

А Колюшка опять:

– Меня раньше оскорбили...

А тот ему слова не дает сказать:

– Молчать! Я вас выучу, как говорить с начальством! При вашем отце я говорю вам в первый-последний раз: сейчас пойдете в класс, и я приду и... – Учителя он назвал, забыл я фамилию. – И вы попросите прощение за глупую дерзость.

Я стал делать ему глазами и умолять, но он не внял.

– Нет, – говорит, – я не могу просить прощения... Он меня оскорбил первый... Это несправедливо...

Так меня в жар бросило. А директор так к нему и подскочил.

– Ка-ак? Вы, мальчишка, осмелились!.. Грубиян! Ни за что считаете, что училище заботилось о вас! Дали вам образование! Должны считать за счастье!..

А тот дернулся и бац:

– Почему же за счастье? – И так насмешливо поглядел, как на меня.

А у директора даже голос сорвался, как он крикнул:

– Не рассуждать! С швейцаром говорите? Я выучу разговаривать!.. Мальчишка, грубиян!..

Я стою как на огне, а ему хоть бы что! Позеленел весь и так и режет начисто:

– И вы на меня не кричите! Я вам тоже не швейцар!

Ну, тогда директор прямо из себя вышел, даже очки сорвал. Надо правду сказать, так было дерзко со стороны Колюшки, что даже невероятно. Ведь начальство – и так говорить! И директор велел ему идти вон:

– Вон уходите! Я вас из училища выгоняю!..

А тот даже взвизгнул:

– Можете! Выгоняйте! Не буду извиняться! Не буду!

И ушел. Я к директору, а он и на меня руками. Весь красный, воротник руками тербит, задыхается. А я стал просить:

– Ваше превосходительство... помилуйте... У нас расстройство... не в себе он, мучается...

А он совсем ослаб и уже тихо:

– Нет, нет... Берите его... мы его вон... исключим... Вон, вон! Не могу... Никаких прощений... Довольно!..

И ушел. Я за ним, а он дверь хлопнул. И остался я один...

Попрекал меня Колюшка, будто я чуть не на колени становился, но это неправда... Не становился я на колени, нет, неправда... Я их просил, очень просил вникнуть, а они так вот рукой сделали и вышли. И никого не было, как я просил вникнуть. А на колени я не становился... Я тогда как бы соображение потерял... Да... Так вот шкафы стояли, а так вот они, и я к ним приблизился... и стал очень просить... Я, может быть, даже руку к ним протянул, это верно, но чтобы на колени... нет, этого не было, не было... Они вышли очень поспешно, а меня шатнуло, и я локтем раздавил стекло в шкафу...

И вдруг передо мной встал какой-то высокий в мундире с пуговицами, перышко в зубах держал... Глаза такие злобные, и так гордо сказал:

– По поручению директора объявляю, что Скороходов Николай будет исключен.

Повернулся на каблуках и пошел с перышком. А тут мне швейцар и показывает на шкаф:

– Уж вы заплатите, а то с нас взыщут...

И заплатил я ему за стекло полтинник. Он мне шубу подал и пожалел даже. Спросил меня:

– У вас сынка исключают? У нас очень строго. А вы идите по карточке этой, – и карточку мне в руку сунул, – у них такое же училище, и они у нас раньше учились... Могу рекомендовать... У них двести рублей только... А может, и скинут, если попросить...

А как вышел я, ничего не видя, во дворе слышу:

– Папаша! погодите!

А это Колюшка с бокового хода, с книжками. Бежит, пальто на ходу надевает, и книжки у него рассыпались прямо в снег. Помог я ему собрать, а он гребет их со снегом, мнет, листки выпали, остались так.

– Не надо теперь... не надо...

Но я подобрал их и сунул ему в карман. И снег шел, такой снег... Пошли двором... Смотрю я на Колюшку, что он так тихо идет. А он назад кинулся, где книжки рассыпал... Стал искать опять, ничего не нашел... Опять пошли к воротам. И уж не смотрю на него, а стараюсь по тропке идти, кругом снегу намело.

– Ну, что же... все равно...

Говорит, а сам нос чешет.

– Ничего... я сразу сдам... все равно...

И замолчал. И я ничего не мог сказать: слова не было такого. Иду, он рядом. Дошли до ворот. Тут он оглянулся, посмотрел на училище... и так горлом сделал: гу... И лицо у него было... Щурился он, чтобы не заплакать... И снег нам в лицо прямо был, густой снег. И так глухо сказал:

– Несправедливо меня... они...

Выкрикнул. И заплакал, махнул рукой.

– Все равно... ничего...

Дошли до угла, а я все не могу говорить. И повернул я в переулок, чтобы в ресторан идти. Не мог я домой идти. Там Луша...

– Папаша, вы куда?

Насилу я выговорил:

– Куда?., в ресторан пойду...

И разошлись. Одумался я, пришло мне в голову тут, что ему обязательно домой надо. И обернулся я, чтобы наказать ему, чтобы домой он шел, а его уж не видно. Такой снег валил, такой снег... свету не видать...

IX

Вот какое мне испытание выпало! А за что? Что я, не исполнял своей службы и обязанностей? Разговорился я как-то с Иван Афанасьичем – старичок у нас на дворе жил, учитель из уездного училища, в отставке от службы. Так он и про себя рассказывал мне очень много горького. И вот скажу, как ни тяжело мне было, а легче как-то стало на сердце: другим еще тяжелей бывает!

У него сын как вышел в люди и поступил булгахтером на фабрику на две тысячи, так его загнал прямо в щель. Так и сказал:

– Вы, папаша, живете на моем иждивении, потому что ваша пенсия только на квартиру хватает...

И всю пенсию его стал забирать за стол и квартиру и отдавал ему носить свои старые брюки. А поместил его в коридоре на сундуке. А как старичок пожелал уехать в комнатку ко мне и жить на свой страх на пенсию, не допустил.

– А-а... Вы хотите меня страмить! Чтобы в меня пальцами тыкали! Я теперь на виду у правления и прибавки просил ввиду вашего содержания, так вы мне нарочно, чтобы повредить в глазах!..

Так и не позволил. И на табак давал только тридцать копеек в месяц и велел в кухне курить, где самовары наставляют. Табак очень зловонный... Вот! Так мое-то горе с полгоря! А тот-то всю жизнь на сына положил, за булгахтерию сто рублей истратил и за место заплатил, чтобы приняли.

И путал я на службе в тот день! Антон Степанычу Глотанову за обедом служил очень плохо, даже совестно. Блюда перепутал, со второго начал. А он и говорит:

– Ключнул, что ли?

Я им даже, помню, и не ответил ничего, и они на меня так внимательно поглядели. Стою неподалечку в простенке, смотрю в окно, как снег валит, а в глазах все комната та со шкафами...

Антон Степаныч ножичком постучали:

– Нарзану я просил!

А у меня в глазах жгет. Принес я им нераспечатанную бутылку. И так мне стало стыдно, что не мог сдержаться... Смахнул салфеткой глаза и откупорил им.

– Что это, брат, с тобой сегодня? – спросили.

Но я счел неприличным сказать им про себя. Извинился за небрежение и объяснил, что заторопился. Нельзя же сказать, что нездоровится, потому что у нас на этот счет очень строго. Нездорового человека нельзя допускать к гостям служить, и было не раз подтверждено администрацией нашего ресторана. Могут брезговать господа. А про сына говорить... И выплакал-таки я лишний полтинник. Всегда они мне полтинник оставляли, а тут положили рубль.

Пришел из ресторана. Луша плачет. И понял я, что ей все известно. Глаза опухли. Про Колюшку спросил. Оказывается, весь вечер все письмо писал и потом уходил со двора, а теперь спать лег. А Луша пристала и пристала ко мне:

– Иди к директору, проси еще... Куда его теперь? В конторщики на дорогу?

Сказал, что схожу, попытаюсь. И легли спать. А как вспомнил про письмо да опять про Кривого, как он ночью один с собой распорядился, страх на меня напал. А Колюшка если... Кто его знает! И не ел он сегодня ничего. Какое письмо? Не могу улежать. Слышу, в коридорчике кашлянул. И пошел я к нему послушать. А мне от лампадки из нашей комнатки видно было, как он лежит лицом в подушку. Как был, так и лежит, и даже сапог не скинул. Подошел я к нему и позвал:

– Коля! Ты не спишь?

– Не сплю...

– Что же ты не спишь?

– Не хочу...

– Коля! Ты спи, голубчик... Не надо расстраиваться... Бог милостив.

Молчит.

– Коля, – говорю. – У меня сердце за тебя болит... Ты бы разделся...

– Нет, все равно...

И вздохнул тяжело. Тут я сел к нему, стал его по спине гладить и уговаривать:

– Ничего. Я все силы употреблю, чтобы тебя приняли... Хочешь, к генералу одному пойду, у него влияние большое, и он к нам ездит... Ему только слово сказать... Он для меня снизойдет...

А он как вскочит!

– Смеетесь, что ли, надо мной? – Задрожал весь. – Да я лучше...

– Что? Что ты лучше? – спрашиваю его.

– Ничего... А экзамен я сдам и без них. Вы думаете, я не понимаю? Я все понимаю!..

Мне, может, больней вас...

И задрожал у него голос.

– Вы, – говорит, – всё радости ждали от меня, а я вам вот что...

И так стал рыдать, так рыдать... И Луша прибежала, и Наташка проснулась... А он в голос, в голос... Встал, на нас смотрит, трясется, точно его кто бьет. И челюсти у него так стучат, так стучат...

– Простите меня... Измучил я вас, измучил. Я все сделаю, работать буду...

Потом оправился и сказал, что спать будет, чтобы успокоились. А как те ушли, и говорит мне:

– Слушайте. Вы ничего не повернете. Я им письмо послал и все сказал...

– Кому письмо послал?

– Им, директору и всем учителям... Все сказал.

– Что ж ты теперь наделал? – спрашиваю.

– Все им сказал. Думаете, я еще ребенок? И ваше положение знаю... А вы мое-то знаете?

Хоть словом сказал я вам про свою тоску? Не хотел вас расстраивать...

Схватил меня за руку, стиснул.

– Нет, нет. Ничего не говорите... Выслушайте, что я вам скажу... Мне некому и сказать-то... Папаша, милый!..

– Ну, хорошо, – говорю. – Успокой ты меня... Извинись...

А тут и вспомнил, что письмо-то он послал им.

– В чем? Что меня все годы мучили? Не знаете вы их!

И стал рассказывать про свое. Как относились к нему и как надзирателишка его поедом ел и издевался.

И так мне стало за него обидно!

– Меня, – говорит, – еще с первого класса все так отличали, и еще некоторых. И все тот носатый. Он все чистеньких любил, а я без воротничков ходил... Оборвышем называл. Он, – говорит, – подлец, даже мою фамилию коверкал нарочно... Скомороховым звал!.. Чтобы смеялись.

И что же оказывается! С пятого класса насчет таких делов просвещал, чтобы туда... И адреса давал. А про Колюшку распространил, что он таким пороком занимается... А?! Ему товарищи сказали. И мой Колюшка пристыдил его при всех за ложь. Ведь это что же!

– Он, – говорит, – меня вшивым раньше называл, на гимнастике на палке кружиться приказывал, а у меня голова не выносит. До ненависти меня довел! А сегодня, как я выбежал из

приемной, он стоял за дверями и подслушивал. И спросил меня, гадина: «Как дела, господин Скоморохов?» Ну, и обозвал я его подлецом в глаза...

Что ж я мог ему сказать! А потом и спрашивает:

– Мне директор про какие-то письма говорил... Какие письма, вы не знаете?

А я про них совсем позабыл, про письма-то Кривого. Достал я из сюртука, зажег лампочку, и стали мы их читать. И что же оказывается? Так он там всего наплел, что и не поверишь. В одном написал, что Колюшка ругает начальство так-то и так-то и говорит про политику, а в другом написал, что все наврал в письме, а начальство все прохвосты и он донесет на всех про взятки. Прямо он уж тогда был не в себе...

Досидели мы так в душевном разговоре до пятого часу, и вдруг заявляется с балу Черепяхин. И очень сильно заряжен.

– По какому поводу бдите? Опять, что ли, кто повесился?

И хоть выпивши он был, но я ему все рассказал, что так и так. А он вдруг на трубе хотел туш. Насилу я его упробил. Разошелся вовсю. Очень хорохорился, врал, как капельмейстеру при публике в ухо плюнул. А голос у него зычный, и разбудил он Наташку. Она из комнаты на него закапризничала. А он сейчас тише воды ниже травы и меня вызвал к себе в комнату. И говорит:

– Желая знать ваше направление... Хотя мною и гнушаются, но я как-никак себя означенную впоследствии, будьте покойны... Это уж я себе назначил. А вот что скажите... Если секретно от родителей, за барышней ухаживать можно? Только одно слово?

– Да почему вы так спрашиваете? – говорю.

– Нет, вы скажите, допустимо? Я для одного приятеля...

Сказал ему, что это, конечно, неудобно.

– Верно! И очень даже, – говорит, – опасно в отношении судьбы... Теперь очень много хлюстов... А если офицер, как вы полагаете? Я их знаю, потому что сам из солдат. Можно?

Ну, я сказал, что нехорошо.

А он мне на это:

– Как я верно понимаю!..

И стал просить, что если с квартиры переберемся, чтобы ему комнатку уделить... А с квартиры мы с Лушей порешили съехать. Такая несчастная квартира попалась.

Х

И переехали мы из дома барышень Пупаевых. А квартиры все очень дороги, и потому сняли квартиру в расчете сдачи комнат, как это теперь заведено и очень облегчает расходы. Наш буфетчик вот снял квартиру за сорок рублей, а сам за комнаты сорок пять рублей выгоняет. Ну, и мы, слава богу, устроились ничего.

Одну комнату взял за себя Черепяхин и пустил к себе жильца, знакомого, – на скрипке играть ходит в кинематограф. И еще комнату сдали молодой чете, – Васиков через Колюшку рекомендовал, – молодой человек и его сожительница. Хоть и не в законном браке, но нам какое дело? Плати деньги и чтобы тихо было. И опять Колюшке спать в проходе пришлось. Наташке надо комнатушку – девица на возрасте, и, конечно, ей надо аккуратно себя держать. Вот ей мы отгородили ширмочкой уголок в столовой. И стала наша квартира как ковчег Завета: куда ни войдешь – всё постели.

И я совсем успокоился, потому что Колюшка стал очень сильно учиться к экзамену. И Васиков, с железной дороги-то, тоже ходил к нему по вечерам заниматься сообща. И пошла наша жизнь тихо-мирно.

И одного только мне не хватало: рассорился с нами Кирилл Саверьяныч. Хоть он и вострый был на язык и очень гордый, но утешитель был при разговоре. И так мне стало скучно.

И задумал я его опять приблизить к себе. Потолковал с Колюшкой, чтобы он ему хоть извинительное письмо написал, авось он отойдет. А Колюшка уперся – нет и нет. Хитрый он! Да ведь хоть какое развлечение, а у меня ни души знакомых. И в гости не к кому сходить. Свои-то, официанты, надоели и в ресторане. А Ивану Афанасьичу до нас далеко стало, учителю-то, и прихварывать он стал.

Тогда я сам в праздник до ресторана пошел к Кириллу Саверьянычу.

У него заведение было на углу, у Вознесения, очень шикарное, с зеркальными окнами, и на большой вывеске под бархат золотыми буквами явственно было по-французски: «Кауфер Кириль»! Это так для образованной публики, а он конечно, по фамилии просто Лайчиков.

И вот вхожу я в магазин, а он сам работает во всем белом и бреет господина. Увидал меня и так вежливо, но с тоном в голосе показал мне рукой на стул:

– Будьте добры...

Точно я бриться к нему пришел. Подлетел тут молодец ко мне с простышкой, но я его отстранил. А Кирилл Саверьяныч и не глядит на меня. Бреет и покрикивает:

– Мальчик... щипцы!..

Наконец, вижу, освободился – и так равнодушно:

– Чем могу служить?

Вижу, что тон задать хочет, а глазами пытается. Тогда я стал ему по сердцу говорить, что вот у меня потеря такого человека, которого я уважал до глубины души, и что мне очень горько... И сказал ему, что такое несчастье нас постигло. Колюшку выгнали, и он тоже извиняется. Это чтобы его растрогать и расположить. Тогда Кирилл Саверьяныч вынул гребешок и стал хохолок причесывать, а сам как бы раздумывает.

И сказал уже совсем мягким тоном:

– Видите, как сама судьба все направляет! Причина к причине идет. Хотя мне очень прискорбно.

И все гребешком расчесывает хохолок.

– Очень, очень грустно по человечеству... Но помните правило жизни! Обруч гнуть надо, распаривши... все это самое... Значит, надо приспособиться, а он у вас думает сразу... И вот – финал!

Очень посочувствовал мне, а потом и говорит:

– Я размыслил и нахожу, все это самое... что было недоразумение на словах. Извиняю его, потому что он и так пострадал. Пожалуйста кушать чай...

И отвели мы душу в разумной беседе о жизни, и я был им так обласкан и утешен, что как посветлело мне все. И обещал опять по-старому заходить и успокоить Колюшку. И даже приказал меня постричь и пробрить, хотя я сам производил эту операцию, и даже велел освежить лицо одеколоном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.